

[Polaris]

П. Пильский



ТАЙНА И КРОВЬ

Роман

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CLXVI



Salamandra P.V.V.

**Петр
Пильский**

ТАЙНА И КРОВЬ

Роман

Salamandra P.V.V.

Пильский П. М.

Тайна и кровь: Роман. Предисл. А. Куприна. Биогр. очерк М. Фоменко. – Б. м.: Salamandra P.V.V., 2016. – 184 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CLXVI).

В книге представлено одно из лучших произведений в жанре «белого Пинкертона» – роман видного журналиста, беллетриста и литературного критика П. Пильского «Тайна и кровь». Его герой, бывший офицер, примыкает в Петрограде к белогвардейскому подполью, которое в первые послереволюционные годы смело противостоит власти большевиков и кровавому террору чекистов. Первое отдельное издание романа, написанного под псевдонимом П. Хрущов, вышло в свет в Риге в 1927 г.

Роман «Тайна и кровь» продолжает в серии «Polaris» ряд публикаций фантастических и приключенческих произведений писателей русской эмиграции.



ТАЙНА И КРОВЬ

Роман

О РОМАНЕ «ТАЙНА И КРОВЬ»

Предисловие А. И. Куприна

Очень опасно стать автором писем в редакцию или предисловий к романам. Чем чаще занимаешься литературой этого рода, тем скорее теряешь доверие у читателей. Доверие, как и влияние, имеют, подобно мылу, обыкновенение быстро измыливаться от щедрого употребления.

Исходя из этого соображения, я совсем было решил отказываться впредь от писания предисловий к новым книгам. Уж очень много пришлось мне их сделать за последние годы, да, в сущности, и не моя это специальность.

Но, вот, прислали мне третьего дня из Риги сверстаный типографский оттиск нового романа, который на днях должен увидеть свет. Я его прочитал и поневоле переступаю зарок. Думаю, что в последний раз. Это — роман П. Хрущова «Тайна и кровь» (кстати: лучше было бы озаглавить «Кровь и тайна», а то, когда быстро произносить, выходит: тайная кровь).

П. Хрущова я не знаю, — встречал это имя в прибалтийских газетах. Очевидно, роман этот — его первое выступление в беллетристике. Я знаю, как чувствительны молодые авторы к оценке плюсов и минусов их первенцев. Поэтому пусть г. Хрущов на меня не сетует, что я начинаю со слабых мест. Так легче, справедливее и для автора удобнее: под конец пойдет хорошее.

Странно: первым и существенным недостатком этого романа является то великое отрицательное качество, которого — увы! — нет в большинстве романов. У Хрущова почти полное отсутствие водянистости.

Есть такие редкие ценные вина, которые в натуральном виде столь сухи и терпки и столь резко ароматны, что с трудом даются пить, но в смеси со слабыми, «бесхарактерными» винами дают чудесные сорта. Также и цветочные эссенции требуют обильной разбавки.

В романе «Тайна и кровь» множество лиц, мест и событий, прекрасно нарисованных, хорошо освещенных, но чересчур тесно друг к другу показанных — хочется разбавки, широты. Весь роман — в энергичном движении, но движение слишком утороплено, — хочется порою его остановить или замедлить, или даже вернуть назад, чтобы получше присмотреться. Вот, видите, здесь и второй недостаток такого же характера, как первый: роману не хватает — диковинно сказать!.. — вялости, медленности.

Таким образом, мне ясно, что посредственный, но опытный романист, взяв за основу произведение П. Хруцова, наводнил бы его диалогами, отяжелил рассуждениями, разбавил общими местами, растянул описаниями природы и выпустил бы на рынок ёмкую книгу в двадцать печатных листов, что составляет 320 страниц. Бессовестный литературный закройщик умудрился бы сделать из того же материала четыре толстенных тома... И, знаете ли, что мне сейчас приходит в голову:

— Два эти недостатка П. Хруцова — не суть ли они достоинства в глазах изощренного читателя, к тому же не нуждающегося в измельченной и пережеванной литературной пище?

Роман «Тайна и кровь» написан в форме устного рассказа, ведущегося от одного лица, Михаила Ивановича Зверева; он же Владимир Владимирович Брыкин, — впрочем, у него, наверно, есть и другие имена, — все в зависимости от оборотов его тяжелой, нервной, бессонной деятельности.

Весь роман разворачивается в сфере совсем необычайной: жуткой и напряженной. Время — конец 17-го, начало 18-го года. Место: Петроград — Финляндия.

Против дьявольской власти большевистской Чека борятся тайно, но упорно оставшиеся в живых патриоты, в большинстве — офицеры. Все они, под чужими именами, составляют связанную железной, добровольной дисциплиной, строго законспирированную священную партию контрреволюционеров, рассеянную по всему Петрограду и окрестностям. Иные из этих героев, — самые нетерпеливые, самые пламенные, но и самые выдержанные бойцы, вроде

Михаила Ивановича, идут на службу не только в красную армию с контр-революционной пропагандой, но даже и в эту мясорубку — чрезвычайку.

Они выведывают тайны и секреты, поддерживают связь с сотрудниками-эмигрантами, печатают и перевозят звания, переправляют почту и людей за границу и обратно. На них лежит тяжкий жребий ликвидировать красных палачей и редких белых предателей (черт бы побрал заразительную братскую войну!). Но тут я предоставляю слово самому Михаилу Ивановичу.

... — «Да, походить пришлось. И вот тут-то, на пограничной черте, с предательской ношей за спиною (мобилизационные планы), действительно, приходилось туго. На этой тонкой линии всегда стояла смерть. Шла двойная игра. Все время живешь под двумя масками. Одна — преданность, готовность на самопожертвование, идейный, красный героизм. Другая — холодное подкарауливание врага, смерти которого ждешь с внутренней, яростной настойчивостью...»

... — «Хуже всего то, что каждый из нас целой паутиной связей неразрывно спутан со многими людьми, с организацией, с резидентом, агентами, конспираторами, передатчиками. Разоблачен один — гибнут десятки. А еще, — в этой работе единый закон: кто наблюдает, за тем наблюдают».

... — «Предатели ? Где их нет ? Были и у нас. Ах, какой это ужас! Узнать потом, что твой друг, твой доверенный, твой близкий, тот, кто казался тебе героем, почетный член организации... предатель!.. О, это надо испытать! Только тогда поймешь этот огненный, страшный край последнего безверия во все...»

Все это только слова и размышления Зверева-Брыкина.

Но роман, как я уже говорил, весь в движении. Я только и хотел сказать то, что содержание романа П. Хрущева совсем ново и совсем не использовано. Мы знаем романы о преступниках и о сыщиках, о ворах-джентльменах и о детективах, о международных шпионах и шпионках.

Но таких романов с двойной, тройной, много раз переворачиваемой смертельной психологией, как роман Хрущева, мы, признаюсь, не читали.

Представьте себе осадно-минную войну. Один инженер прокладывает подземный ход для взрыва неприятельского укрепления. Но инженер с другой стороны ведет подкоп под него. Они сближаются на короткое расстояние. Каждый слышит работу другого. И вот, тут вопрос: кто первый из них подкопается под врага и первый взорвет его?..

Это лишь внешний, эффектный, привлекательный и волнующий интерес романа. Художественно-психологическая сторона его безмерно глубже.

А. Куприн

Париж.

ОТ АВТОРА РОМАНА

Несколько неизбежных пояснений

В моем романе «Тайна и кровь» встречаются знакомые имена, проходят действительно существовавшие и существующие люди, но названы только те, кому уже не грозит никакой опасности. Все другие выступают у меня под псевдонимом. Это тоже живые лица, хотя сам роман ни на минуту не претендует на значение исторического и, в особенности, не хотел стать «исторической хроникой».

Тут вымысел сплелся с действительностью, но как раз то, что может показаться наиболее фантастическим, не выдуманно, а происходило на самом деле, — тем это удивительней и страшней.

Теперь о темпе романа.

Он быстр.

А. И. Куприн прав: в романе нет «водянистости» и «вялости». Этот быстрый ход мне казался необходимым в романе, как он был быстр и в самой жизни тех лет, вихревой, окруженной опасностями, риском, тайной и кровью.

П. Хрущов

I

На другой день после убийства английского офицера

Накануне убили английского офицера. Его труп был найден на одной из петроградских улиц. Видимо, никто не хотел скрывать этой смерти, а она была явно насильственной. Оказалось, что убитый английский офицер служил в иностранной контр-разведке. Об этом и шел разговор в кабинете адвоката Любарского.

К нему я попал в первый раз. Впрочем, мы были давними знакомыми, и его приглашение мне не могло показаться неожиданностью. Знал я и трех других его гостей.

Один, высокий и полный гражданский инженер, был его шурином. Другой, сутулый, бескровный, чахоточного вида человек, бывший петербургский адвокат, считался давним приятелем хозяина, его политическим единомышленником, и оба они когда-то вместе участвовали в сложных и громких судебных процессах.

Но одного из присутствующих я не знал. Мне не приходилось его встречать ни в знакомых домах, ни в театрах, ни на улице. Сначала я не обратил на него внимания. Может быть, потому, что он сидел в темном углу большого кожаного дивана и почти все время молчал.

Уже только тогда, когда зажгли лампы, я всмотрелся в его черты. В первую же минуту даже для поверхностного взгляда стало ясно, что он очень нервен. Левый мускул его лица подергивался, чуть-чуть дрожали руки, и во всей фигуре чувствовалась какая-то внутренняя борьба, то усиленное напряжение, которое должны делать над собой люди, привыкшие собою управлять, побеждать свою глубокую тревогу, выращивать и воспитывать нелегкие приемы внешнего спокойствия и скрытности.

Разговор шел об убитом англичанине, и об этом сейчас писали все газеты. Его имя было знакомо Любарскому. По-видимому, он что-то знал и об его деятельности. Во всяком случае, никто из нас не сомневался в том, что убитый был, действительно, контр-разведчик.

Пуская из-под седеющих усов дым сигары, глубоко вметившись в глубину стеганого кожаного кресла, заложив ногу на ногу и смотря куда-то в потолок, сутулый ех-адвокат говорил:

— А все-таки это замечательно... Удивительный человек! Да и вообще: какой нужен характер, чтобы решиться на такую работу. Вы только подумайте: избрать себе постоянной профессией разведку! Что хотите, но для этого нужно быть каким-то сверхчеловеком...

— Ну, сел на любимого конька, — расплываясь в доброй, дружеской улыбке, сказал Любарский и провел рукой по своей большой голове, подстриженной бобриком и оттого похожей на щетку. — Какое тут сверхчеловечество! Просто специальность. Да и мало ли опасных профессий? Если рассуждать так, как ты, то всякий храбрый солдат тоже, пожалуй, окажется Uebermensch'ом.

— Но какое же сравнение! У солдата — открытая работа: в руках — оружие, сверху — приказ, сзади — подмога, впереди — враг, в результате — победа или проигрыш, все просто. Нет, это совсем другое дело. Солдат — миллионы. Но когда же ты видел живого контр-разведчика?

При этих словах Любарский вдруг захохотал, ударил себя ладонью по колену и с какой-то странной, торжествующей радостью воскликнул:

— Да не только я, но и ты собственными глазами видел и говорил с настоящим, испытанным представителем этой «сверхчеловеческой» профессии.

Я невольно взглянул в тот угол дивана, где сидел новый для меня в этом обществе человек.

— Ну, что там таиться от своих! В этом кабинете секретов нет: Михаил Иванович на это дело ухлопал много жизни и много сил...

Мы все еще раз взглянули в сторону Михаила Ивановича. Он передернул плечами.

— Да, немало...

— Что же вы скажете, Михаил Иванович? Сверхчеловеческая это работа или нет?

— Как сказать... По затрате нервных сил, пожалуй, и сверхчеловеческая.

Он произнес это медленно, его голос звучал глухо и твердо и голубые глаза казались серо-стальными.

«А ведь ты можешь задушить» — мелькнуло у меня в голове. В ту же минуту он взглянул на меня, и мне внезапно показалось, будто его глаза сказали :

«Конечно, могу и не только могу, но и мог».

Впрочем, и эта мысль и этот быстрый короткий ответ стальных глаз промелькнули менее, чем в секунду, но какое-то волнение осталось.

— Страшно? — спросил я без интонаций и сейчас же понял, что это был не вопрос, а мое собственное признание: *мне* было страшно.

Левый мускул бритого лица дрогнул:

— Это — не то слово, — заговорил глухой голос. — Да, не то. Страшно бывает от внезапности. Страшно то, чего не ждешь... А в этой профессии ждешь всего.

Хозяин поторопился разъяснить нам специальность Михаила Ивановича:

— Ведь он провел контр-разведчиком свои лучшие годы, а это были страшные годы гражданской войны. Вообразите себе белогвардейца в стане большевиков...

— Вы служили у них? — спросил высокий полный инженер.

— Ну, конечно! В этом и вся прелесть. Тут главной задачей было заставить их поверить в свою преданность. Без этого я не мог бы сделать ни одного шага, уж, конечно, я не имел бы никакой возможности столько раз переходить границу.

— Михаил Иванович переносил мобилизационные планы, — снова объяснил хозяин.

— Да, походить пришлось... И вот тут-то, на границе, с этой предательской ношей, действительно, приходилось... трудно. На этой тонкой линии всегда стояла смерть. Ведь шла двойная игра. Все время надо было жить в двух масках. Одна маска выражала преданность, готовность на самопожертвование, идейный героизм. Другая изображала торжествующую, мефистофельскую улыбку. Собственно говоря, я всегда испытывал интереснейшие переживания. Да, теперь, когда оглядываешься назад, сам не веришь, что все это было в действительности.

Михаил Иванович встал и в волнении зашагал по комнате.

— Бывало, стоишь в штабе навтытяжку, следишь, как палец ненавистой руки чертит по карте, слушаешь, как тебе внушают: «Необходимо получить точные сведения именно об этом районе неприятельских действий»... Неприятельских!.. Это они-то для меня — «неприятели». А голос продолжает: «Вы должны глубже войти в доверие их штабов! Не брезгайте ничем! Пускайте в ход все средства! Если нужно — подкупайте! Швыряйте деньгами! Понадобится — спаивайте! Входите в любовные связи с их женщинами! Проникайте в письменные столы, в служебные шкафы, но главное — в души, в сердца, в доверие! Опутывайте всего человека! А чтобы в вас не сомневались, прикидывайтесь другом и единомышленником. В доказательство представляйте эти планы. Говорите, что вы их выкрали чрез вашу секретную агентуру...» Это мне-то нужно было «прикидываться» их единомышленником! Но — ничего. Молчание! Молчание! Выдержка! Спокойствие! Подлый голос, посылающий на предательство, умолкает. Карта вручена. Прячу эту бумажку, деньги, паспорт — и на границу. Конечно, тут уже — последняя ставка: или пан, или пропал...

— А вы утверждали, что в этой профессии нет страшного... — проронил сутулый адвокат чахоточного вида.

— Да, страшного не было. Это были минуты великого азарта. Все нервы натянуты, как струна, до того, что, кажется, готовы скрипеть зубы, и кулаки сжаты для железного удара. Нет, тут — не страх. Если же вы непременно

ищете в этой профессии ощущение, напоминающее страх, то извольте. Но и тут это слово «страх» все-таки будет неточным. Это чувство — или, скорей, его подобие — бывало совсем не от готовящейся встречи с установленным, определенным врагом. Разумеется, в душе контр-разведчика всегда живет боязнь быть опознанным. В этой работе вы каждую минуту можете быть расшифрованы, а тогда все кончено. Понятно, конец один: пытки и смерть. Но хуже всего то, что каждый из нас целой паутиной связей неразрывно спутан и соединен с многими людьми, с организациями, с резидентом, агентами, конспираторами, передатчиками. Разоблачен один — гибнут десятки. А в этой работе везде — одно и то же, одно правило и один закон: кто наблюдает, за тем наблюдают. Здесь человек всегда висит над пропастью. Один неверный шаг, иногда жест, иногда одно лишнее слово — кончено! Притом вы сами можете вести себя совершенно безукоризненно и все-таки провалиться. Все зависит от тех, кто работает с вами. Тут все — начеку. Вероятно, так себя чувствует волк, попавший ночью в деревню. Все тихо, все еще спят; кажется, ничто не угрожает, но миг один — и вот вдруг сбоку, спереди, сзади выскочат собаки с оскаленными мордами, люди с цепями и кольями, закричат, окружают, и нет ни выхода, ни спасенья. Опасная штука!

Михаил Иванович остановился посреди комнаты, опустил руки в карманы, несколько раз покачался на каблуках и носках и, как бы вновь смотря в глаза самой опасности, самой смерти, слегка сощутив глаза, продолжал:

— Каждый из нас — как фонарь во тьме, который обстучает неслышный мрак. Мы освещаем дорогу своим, но порыв ветра — и свет потух! А ведь кругом, действительно, — мрак, и в его тьме очень трудно отличить своего от чужого и предателя от друга...

Он вдруг выпрямился и крепко стал бить себя в грудь. Чувствовалась звонкость: это была хорошая грудь! Вот когда, наконец, я увидел этого человека, в эту минуту — кривящиеся губы, бритое лицо, где смешались выражения последнего презрения, самоуверенного хищничества, холод-

ный фанатик, неумолимый злодей, — и снова мне вспомнилось: «Ты можешь задушить... ты душил».

Глухой голос наливался гневом:

— Предатели!.. Где их нет ? Были и у нас... Ах, какой это ужас узнать потом, что друг, твой доверенный, близкий, тот, кто узнал твою тайну, тот, кто казался героем, кому готов был молиться, лучший и самый почетный член организации... предатель ! Вот — наш ужас! Вот когда сердце обливается кровью! Вот когда чувствуешь себя дураком и мстителем, одновременно ослом и тигром. О, это надо испытать! Только тогда поймешь этот страшный, огненный край последней бездны неверия во все. Знаете ли вы, что в нашем деле должна быть конспирация дьявола? Ничего человеческого! Нет ни отца, ни матери, ни невесты, ни сестры, ни жены. Все могут предать. И, действительно, все предают. Все...

Чахоточный адвокат спросил возбужденно:

— Неужели предают все?

Подергивающееся лицо, серые стальные глаза насторожились :

— В том-то и дело, что не все предают. Если б все предавали, не о чем было бы и говорить, и некому было верить. Но могут предать. Это раз. А иные уже предали. Ведь и в нашей организации бывают люди, носящие тоже две маски. Тут игра в крапленые колоды, и у всех — шанс, риск и... ну, что выбирать слова, конечно, шулерство. Возьмем хоть бы такой пример. Первое дело, в котором я должен был участвовать, всецело зависело от Варташевского. Кто его не знал? Молодой бог! Силач, красавец, 23-летний полковник, первый летчик... Успех везде — покоренный мир под ногами, потому что он лежал всегда под его аэропланом, неисчислимы победы над воздухом, над капризами машины, над душами подчиненных и товарищей, над сердцами женщин, а среди них — покоренная... Мария Диаман! Слышали? Еще бы! Великолепная опереточная актриса, сводившая с ума американских миллиардеров, экзотических принцев, французских критиков и немецких философов. Недурно? Так вот, она стала возлюбленной Варташевско-

го... 23 года, жизнь, молодость, счастье, двойная слава: она и он!.. Тут то и случилось. Ночью я приехал к нему. Условленный знак был — стук в дверь.

Михаил Иванович показал: согнув указательный палец, он стукнул о дверь. И в тот же миг с другой стороны в ту же дверцу раздался тоже стук. Я вздрогнул. Хозяин раскрыл глаза. Сутулый адвокат приподнялся и покинул стеганое кресло.

Вошла хозяйка. Нас звали ужинать.

— Ты прервала нас на самом интересном месте, — сказал с улыбкой Любарский, обращаясь к жене.

Михаил Иванович выпрямился, сдвинул каблуки, поклонился, и снова его лицо приняло непроницаемое выражение.

— Любопытно, — протянул полный инженер... Замечательно!.. Именно — «сверхчеловечно»...

II

Обыск

Ужин был молчалив и быстр. Мы ели не торопясь, но уже в 11 часов жали друг другу руки в передней. Беседа, начавшаяся в кабинете, была прервана. Вероятно, хозяин не хотел ее продолжать в присутствии жены и бонны.

Мы вышли на улицу. Зимняя ночь была тиха. Свет луны струился по белой улице. С Михаилом Ивановичем мы шли вдвоем: наш путь лежал в одну и ту же сторону, к вокзалу. Мне не терпелось. Тема, возникшая в кабинете, ее таинственность, ее мрачность, новизна и тревожность меня взволновали. Я сказал:

— Не так поздно. Может быть, зайдем ко мне ?

Михаил Иванович согласился.

Теперь мы сидели друг против друга, пили чай и говорили все о том же — о том, что так раздражило и взбудоражило мой интерес.

— Видите ли, все это делается не сразу. Чтоб решиться на такие дела, нужна все-таки подготовка, — медленно говорил он. — Но главное — организация. В одиночку ничего нельзя сделать. Здесь требуется сеть, связь, чувство взаимной близости, сила круговой поруки, уверенность в поддержке. И, конечно, тренировка! Вы спрашиваете, как я начал? Но это произошло случайно. В сущности, это всегда так. Никто не рождается контр-разведчиком. Эта деятельность требует больших сноровок. Но я хорошо помню первый шаг. Он был совсем не в контр-разведках. Да, это была белая организация, если хотите точнее — офицерский союз. Кто стоял во главе, я не знал. Но центральные руководители известны были и мне. Словом, в один прекрасный день я получил назначение. Мне было приказано, во что бы то ни стало, попасть в петроградскую милицию и по возможности занять там видное положение...

Михаил Иванович задумался. Его глаза прищурились. Казалось, он в эту минуту вызывает в памяти какие-то неясные и жуткие картины.

— Да, представьте себе, мне это удалось. В бывшем Московском участке я стал чем-то вроде милицейского «околоточного». Ну, скажу вам, и службочка! Во-первых, грязь. Грязь всеобщая, исключительная, повальная. Грязь стен, грязь камер, грязь на полу, грязь стола, но также и грязь дел. Ах, что там говорить о взятках! На это никто даже не обращал внимания. Брали все, со всех и за все. Но, вот что было особенно, невыносимо тяжело. Это — обыски. Ко всему можно привыкнуть, но только не к этому. Удивительно подлое ощущение! И вот, бывало, дежуришь. Ночь... душный, промозглый, кислый запах сапожной кожи, водочного перегара, отпотелой сырости... горьковатый вкус во рту и тяжесть в голове. Скверные были ночи! И почти каждый раз так около часу — звонок из чека:

— Дежурный?

— Да!

— Возьмите наряд, отправьтесь на Владимирскую улицу, № 6. Там, в квартире бывшего адмирала, произведете обыск, а его самого арестуете!

Телефон умолкает. И тут начинается риск. Ясно: ищут при обыске компрометирующих документов. Значит — свой! А раз свой, надо спасать. И вовсе не по-человечеству. Нет, просто потому, что среди бумаг могут натолкнуться на такую, которая раскроет всю организацию. Вы понимаете, что всех членов союза никто из нас не может знать. А что, если вдруг адмирал законспирирован и состоит у нас? Надеваю шапку, обхожу комнаты участка: слава Богу, все спят! Тогда медленно выхожу на двор, потом на улицу, будто проветриться... Жутко... Оглядываешься по сторонам и быстрым шагом, почти бегом — на Владимирскую, в шестой номер. Подходишь и чувствуешь, как бьется сердце. Хорошо, если ворота открыты и не нужно вызывать звонком дворника. Ну а что, если они заперты? Будить дворника, идти наверх, потом опять выходить и чрез полчаса явиться с нарядом и опять звонить, вызывать, входить — немыслимо! Это значить — родить самые основательные подозрения. Вы знаете, что никто никому не верил. Доносчик чуялся в каждом, тем более в дворнике. Пробую калитку. О счастье, — она открыта! Лечу наверх, стучу. Ответа нет. Начинаю звонить — молчание! Снова стучу... Наконец, шаги. Женский голос спрашивает:

— Кто там?

— Отворите! Дежурный из милиции...

Слышу звяк цепочки, поворот ключа, дверь открывается. Со стучащим сердцем смотрю: предо мной — молодая женщина в пеньюаре. Захлопываю за собой дверь, наклоняюсь к ее уху и быстро:

— Молчите, не бойтесь! Успокойтесь!

И затем сразу:

— Адмирал дома?

У женщины — испуганные глаза, ее руки дрожат, тяжело поднимается грудь, раздвигая кружева разреза. Пресекающимся голосом, вот-вот готовая упасть в обморок, она отвечает:

— Его здесь нет.

— Укажите его комнату!

— Вот!

Вхожу. Темно.

— Зажгите свет!

Она поворачивает выключатель. Тогда я закрываю комнату и беру ее за руку. Она вздрагивает. Ее взгляд, как у помешанной, она отклоняется назад. Я раздражаюсь:

— Да поймите же наконец, что я пришел вас предупредить. Чрез полчаса у вас будет обыск. Ясно? И приду с рядом милиции я. Сейчас же уничтожьте все бумаги! Если адмирал дома, пусть сейчас же скроется!

— Его нет!

Она говорит эти слова, а я вижу, чувствую, ощущаю, что она не доверяет и мне, верит и не верит, хочет и не может, а ее лицо то вспыхивает ярким румянцем, то бледнеет почти смертельно, и в глазах все то же — оскорбительный и радостный вопрос:

— Друг или предатель, погубить или спасет?

Тогда я беру ее руку, подношу к губам и говорю еще раз:

— Успокойтесь и благодарите Бога!

И она сразу успокаивается. Когда она открывает мне наружную дверь, ее губы тихо шепчут:

— Спасибо, спасибо!

Ее голова чуть-чуть откинулась назад, она стыдливо закрывает обнажившийся верх груди, ее лицо озаряется улыбкой, в эту минуту она кажется восхитительной, счастливой и такой покорной в своей признательности, как может быть только спасенная женщина.

Бегу в участок, в душе — сомнения и тревога: не проснулись ли, не замечено ли мое отсутствие? Но — ничего! Все спят. Я сажусь за стол. Мне надо выждать, пока в доме адмирала приготовятся к моему обыску. Я смотрю на часы: половина третьего. Я встаю, бужу людей, и мы идем. Дом окружен. Оглушительно звоним дворнику. Он медлит и когда, наконец, появляется, я кричу на него злым, начальническим голосом:

— Спите! этак и свою свободу проспите... Позвать председателя домового комитета!

Он приходит.

— Проведите в квартиру № 3... Покажите, где черный ход!

Снаружи, внизу лестницы, у парадных дверей, у входа в кухню я расставляю людей с винтовками.

— Никого не выпускать, а всех приходящих арестовывать!

Наконец, все сделано. Я снова с силой надавливаю кнопку звонка, я сильными ударами руки начинаю греметь в дверь и тотчас же слышу быстрые, легкие шаги. Нам отворяют тотчас же. В раме двери я вижу все ту же женщину с золотыми волосами. Она в том же пеньюаре, но теперь он застегнут наглухо. Быстрым взглядом я окидываю ее фигуру, ее лицо и замечаю только небольшое, еле зримое волнение.

— Милая, — говорю я мысленно и громко кричу:

— Здесь живет адмирал Н.? Извольте сейчас же предъявить его!

Женщина отвечает, как и тогда:

— Его нет.

Конечно, его теперь нет! О, конечно! Это я знаю лучше, чем она, но я продолжаю все тем же повелительным и грозным тоном :

— Ах, нет? Вы говорите: *нет*? Хорошо! Но если мы его найдем, и вы и он будете немедленно отправлены на Горховую... поняли?

Я знаю, что в эту минуту женщина верит мне, она убеждена в том, что я играю, что мой голос и этот угрожающий тон и эти пугающие слова не предвещают никакой опасности, и все-таки она волнуется. Мне досадно на себя, мне хочется сказать вслух это слово: «милая», но я связан, в моей силе и власти я сейчас — самый беспомощный человек на свете, — и я продолжаю:

— Покажите его комнату! Приступить к обыску!

И вот мы обходим всю квартиру. Мы распаковываем шкапы, мы открываем ящики комодов, шарим в столе, перетряхиваем бумаги.

Нахмутив брови, важно откинув голову, я читаю какие-то глупые счета. Женщина следует за нами. Но вот она от-

стала, замешкалась в соседней комнате, и оттуда вдруг вырвался ее крик. Я бросаюсь туда и вижу, как она высвобождается из рук моего милицейского. И, развернувшись, со всей силой моей злобы, ненависти, накопившегося гнева и нечеловеческого презрения я ударяю по лицу мерзавца. При этом я кричу:

— Ты подрываешь советскую власть!

Через минуту мы выходим из квартиры, я оборачиваюсь в последний раз, и на меня смотрят благодарные глаза.

В участке я соединяюсь по телефону с чека:

— Попросите дежурного!

И, когда он подходит, я ему докладываю:

— Обыск произвел. Документы изъяты. Адмирала нет.

III

Убийство Томашевского

Почему люди сближаются? Как разгадать тайну доверия? Почему говорится с одним и не говорится с другим? Я сказал Михаилу Ивановичу:

— Чем я заслужил вашу откровенность?

Он посмотрел на меня внимательно, прищурил левый глаз, опять на миг нервно дрогнула левая щека. Он загадочно и хитро улыбнулся.

— Ну, а как вы думаете — все эти «переделки» и риски не учат? Когда-нибудь узнают и поймут, что выведывание чужих тайн дает великое знание человеческой души. Вам верю. Да и что скрывать?..

— А все-таки... почем знать? Тайна должна всегда сохраняться в запертном месте.

— Теперь это — уже не ценная тайна.

— Но вы называете фамилии...

— Это — имена конченных. Их больше нет на свете.

Я взглянул на его руки. Это были сильные и крепкие, железные руки, и, казалось, все время они дрожали непре-

рывной дрожью. Без сомнения, этот человек прошел большие искусы, рискованные опыты, жестокие надрывы, свирепую борьбу с самим собой, побеждая свою гордость, страх и совесть. В его близости чувствовалась жуть. Еще раз мне пришла мысль о том, что он убивал.

— Убивали? — тихо спросил я.

Он помолчал. Это продолжалось секунду. Поднял стальные глаза и твердо ответил:

— Да.

— Того летчика, двадцатитрехлетнего Варташевского? Ну, этого вашего молодого бога, любовника опереточной Диаман...

На его лице проступила надменная улыбка. Ответ был ясен. Конечно, он! Я не умел задать вопроса.

— Вы торопитесь, — холодно и медлительно произнес он.

И в его голосе мне почудилось повелевающая сила. Спеша ответить, я услышал, что не говорю, а извиняюсь:

— Простите! Я перебил вас. Это так интересно, что вы рассказываете. В самом деле, порядок необходим. Мое любопытство захвачено, но вы сами понимаете, что я — не разведчик и не выведчик. Продолжайте, пожалуйста...

— Знаете, мне и самому хочется говорить... Бывают такие минуты... Наша совесть похожа на зверя. Вам известно, что он возвращается на то место, где была пролита его кровь, чтобы ее лизнуть. Так и я. Ну что ж? На чем мы остановились?.. Да, — как я был большевистским околоточным... Так вот...

— Долго?

— Нет, долго там и нельзя было оставаться. Если каждый значительный обыск безрезультатен, то вы сами понимаете... Но дело в том, что нельзя было добровольно уйти. Вообще, в этих делах нет ни доброй, ни злой воли. Есть одно: дисциплина. Снимут — уйду, оставят — работаю. Пошлют — «слушаюсь!» Жертва — беспрекословность — повиновение. Никаких разговоров! И, знаете, в этом есть своя прелесть и красота. Пассивность? О, нет. Совесть про себя и про свое дело так говорить, но решусь сказать: да, в этом

был героизм самоотвержения. Что дальше? А дальше просто. Опять ночь, дежурство и этот страшный, заставляющий вздрагивать звонок — телефон, но на этот раз уже не из чека:

— Михаил Иванович Зверев?

Неожиданно! Так никто не вызывал.

— Я.

— Снимайтесь немедленно!

— То есть как?

— А просто так. Надевайте шапку и уходите. Отправляйтесь на квартиру. Там соберите все, что вас может компрометировать, и сейчас же на — Сергиевскую, № 20, кв. 7. Скажите, что пришли от Григоровиуса. К хозяину квартиры обращайтесь по имени и отчеству такому: Феофилакт Алексеевич. Вам откроет дверь человек с черной бородой и в роговых очках. Ему верить.

Встаю. Около меня в двух шагах на скамейке сидит милиционер. Я его знаю. Это — заядлый и преданнейший большевик. Шпионит за всеми. Иногда я ловлю его косой, подозрительный и злой взгляд. В участке он — единственный, угадывающий таинственную правду, единственный человек, чувствующий во мне врага. Как уйти? Тогда я ему говорю:

— Томашевский, сделайте услугу товарищу, сходите в аптеку, купите мне валериановых капель. От этих бессонных ночей испортилось сердце. Трудная штука революция. Нелегко нам с вами насаждать советскую правду. Я не беспокоил бы вас, но вы сами видите: каждую минуту меня могут вызвать к телефону.

Удивительно! Томашевский соглашается сразу.

— А что ж, товарищ, — тянет он глухим голосом. — С удовольствием!

Он поднимается и уходит. Я вынимаю часы и слежу. Вот он проходит коридор — минута. Выходит на двор, проходит к воротам — минута. Идет налево — надо выждать, по крайней мере, пять минут: а вдруг он оглянется? Наконец проходит семь минут. Я поднимаюсь, я надеваю шапку, я подхожу к воротам, переступаю чрез их нижние перила и

вдруг, пораженный, в ужасе, ошеломлении, поверженный неожиданностью, слышу знакомый и глухой, враждебный и торжествующий голос Томашевского:

— Стой!

В одну секунду происходит огненное кружение действий, впечатлений, трепетов и схваток. Злобное лицо хищника, поймавшего жертву (жертва — это я), разъяренность его взгляда, мой шаг назад, щелк кожи кобур, два револьвера в воздухе. Мой первый — я стреляю. Томашевский убит. Он падает с глухим стоном поверженного зверя. «Сволочь!» — рычу я и с бешенством в груди, весь собранный в одну крепкую, нервную, напряженную, неразгибающуюся пружину, стиснув зубы, выпрыгиваю на улицу.

— Спокойствие! Спокойствие, Михаил Иванович! Умерьте ваше дыхание! Тише! Ровнее шаг. «Раз-два-три-четыре» — подсчитываю себе. «Тверже ногу!» «Мужество!»... А что, если выстрел услышан? Погоня... Сворачиваю на Невский. О, счастье: извозчик! Сажусь:

— Сергиевская, 20.

— Товарищ...

— Без разговоров! Вы везете милицейского по приказанию чрезвычайной комиссии.

И вот мы уже у подъезда. Сую извозчику деньги. Он благодарен и удивлен, хлещет лошадь, отъезжает, я вглядываюсь в задок и запоминаю: № легок — 113. Это надо запомнить! В этой жизни надо все запоминать.

Меня встречает человек с черной бородкой и в роговых очках. Он спокойно вынимает руку из кармана брюк, протягивает мне и говорит:

— Так скоро я вас не ожидал.

— Я прямо к вам.

— Значить, не заезжали домой? Не уничтожили ненужного? Это скверно. Надо делать то, что приказано.

— Но я должен вам сказать, что я натолкнулся на живое препятствие и должен был его устранить и спастись.

— Да... Это — большое осложнение. На квартире — важные документы?

— Никаких.

— Ну, в таком случае все в порядке.

Мы садимся. Я спрашиваю:

— Почему меня сняли ?

— Вы раскрыты. Во всяком случае, вы заподозрены...

— Откуда вам это известно?

Он меня оглушает ответом:

— Из чека.

Тогда я спрашиваю:

— Что же будет дальше?

— Сейчас я вам дам новый паспорт. Будьте добры выучить его наизусть. С этих пор забудьте ваше имя, отчество и фамилию. Тренируйтесь на том, чтобы не откликаться ни на одно из трех слов. Для вас во всем мире больше не существует ни Михаила, ни Ивановича, ни Зверева. Поняли? Повторите !

И я повторяю:

— Для меня в мире больше не существует ни Михаила, ни Ивановича, ни Зверева.

И прибавляю, ударяя на каждом звуке:

— Таких слов нет.

Чернобородый Феофилакт Алексеевич ведет меня в соседнюю комнату, зажигает огонь, указывает на кровать:

— Переночуете здесь.

Мы прощаемся. На пороге он оборачивается ко мне:

— Завтра вы получите новое назначение.

IV

Секретный агент штаба

— Который час?

— Еще нет часу. Рано. Вам некуда торопиться. Ваш рассказ так интересен.

— Все равно, сегодня его не кончить... Да и вообще, если все перетряхнуть в памяти, то хватит надолго. Вы понимаете, что тут важны не только факты, но и переживания.

Когда птица бьется в западне, разве интерес в западне или даже в самой птице? Да, так вот... В эту ночь я стал нелегальным. Михаил Иванович Зверев умер, и вместо него появился на свет человек с тремя «р» — «Владимир Владимирович Брыкин». Запоминается тоже легко.

Странная вещь! Ведь не слова же делают человека, и не в случайном имени заключена тайна и сущность его жизни. А вот подите: пока я был Михаил Иванович, все казалось на своем месте. Но стал Владимир Владимирович — и в душе родилось какое-то новое ощущение. С этих пор я стал чувствовать себя, как на маскараде. Я и в то же время не я. Вот я пойду по улице, вот встречу знакомого, я должен поклониться... — я не должен поклониться, я не смею этого сделать! Это будет глупо и удивительно, потому что с этим человеком был знаком Михаил Иванович — Владимир же Владимирович его не знает, он никогда его не встречал, Владимир Владимирович ему никогда не был представлен, он — новое, только что рожденное лицо, и теперь все, что знал, имел, любил и помнил капитан Зверев, потеряно навсегда. Все это умерло...

На Сергиевской я провел плохую ночь. Убийство, новая квартира, незнакомый человек с бородой, в роговых очках, чужая комната, чужая кровать, а наутро новое назначение... Какое? Я шел в неизвестность с новым именем, новый человек для неведомых дел. Какой тут сон! Феофилакт Алексеевич утром позвал меня к чаю.

— Ну как? Ознакомились с вашим новым документом? Усвойте его твердо! А теперь, Владимир Владимирович, вы должны отправиться в главный штаб...

— На Морскую?

— Нет, на Невский. Рядом с магазином главного штаба — ворота. Подниметесь в верхний этаж. На двери увидите: «Информационное бюро. Отдел печати». Войдете и вызовете Леонтьева. Когда он назовет свое имя, вручите ему эту карточку. Вы становитесь секретным агентом и будете командированы в Финляндию... Ну, вот и все... Впрочем, нет. Чуть не забыл. Торгуйтесь и требуйте в настоящей валюте. С Богом!

Мы попрощались. На визитной карточке стояло: «Адольф Христианович Гарф». У меня мелькнула тревожная мысль:

— А если меня спросят что-нибудь об этом таинственном Гарфе? Кто он? Брюнет? Блондин? Старый? Молодой? И потом: что за человек этот чернобородый Феофилакт Алексеевич без фамилии, незнакомец, ни разу не назвавший себя? Неясно мне было и другое: что это за «настоящая валюта»? Но размышлять поздно. Возврата нет. Ничего нет! Нет даже самого капитана Зверева. Теперь в мире существует только убийца Томашевского, скрывающийся под именем Брыкина.

И тотчас же внутренний голос спросил:

— А если бы не это, ты не пошел бы, не исполнил, нарушил слово?

Но ответ тверд:

— Пошел бы — непременно.

Открываю подъезд, подымаюсь по лестнице. На площадке — двое в пулеметных лентах:

— Куда!

— В информационное бюро.

Внимательно оглядывают:

— Хорошо. Идите, но назад не выпустим.

Наконец, распахиваю дверь в отдел печати. Огромный швейцар.

— К кому?

— Нужно видеть Леонтьева.

— Вот приемная.

Странная комната! В ней — три окна, четыре двери, в ней нет ни стола, ни стула. Жду недолго. Сзади меня голос:

— Что угодно?

— Нужно видеть Леонтьева.

— Это — я.

Я поражен. Свирепое лицо, тяжелый, напряженный взгляд, на поясе — две револьверных кобуры. Я вручаю карточку. По его лицу пробегает мгновенная улыбка.

— Рекомендация хороша. Сейчас я позову товарища комиссара.

Он уходит. Через минуту он появляется из другой двери вместе с кожаным человеком.

— Мешкать нечего, — говорит комиссар. — Пойдемте!..

И я вижу, как меня выводят в левую, в третью дверь. Я прохожу мимо комнаты и чувствую, как из угла на мне внимательно, зорко и неподвижно остановился чей-то взгляд. Я поднимаю глаза и вижу какого-то морского офицера. Мы идем дальше.

— Вот здесь, — говорит Леонтьев. — Садитесь!..

Стены покрыты картами. На них то там, то здесь синий и красный карандаш обвели круги.

— Куда же вас направить ? — задумчиво произносит комиссар. — Какие языки вы знаете?

Я отвечаю:

— Немецкий, французский...

И вдруг неожиданно для себя бросаю:

— И немного финский.

Комиссар — блондин. У него — светлые синие глаза. Я спохватываюсь:

— А вдруг он сам — финн?

Но комиссар обрадован.

— Это хорошо. Тогда вас нужно командировать в Финляндию. Жаль, что с вашим знанием языков приходится давать такое поручение, но раз вы понимаете по-фински...

И вот мне объясняют, что я должен делать.

— На раутском пункте вас перевезут в Финляндию. Кто — сейчас узнаете. Вы должны явиться к Лайконену, адрес — вот. Задание ваше пока несложное: вы должны связаться с организацией красных финнов, а для этого явитесь к нашему резиденту Никольсону. Как и когда — вам скажут потом. Все ли вам понятно?

— Все.

— Теперь вы должны пойти сняться и представить нам три фотографических карточки.

Леонтьев дает мне адрес фотографа и пропуск. Через час я снова — в той же комнате, обитой картами. И тут начинается торг. Мне дают 4000 финскими, одну тысячу думскими и одну тысячу фальшивых финских бумажек. Я ре-

шитительно заявляю:

— Нет. Я хочу получить 10.000 финских. Притом настоящих.

Я произношу это слово «настоящих», и мгновенно мне вспоминается наставление Феофилакта Алексеевича. Так вот что значит «настоящая» валюта! Уступают не сразу. Комиссар старается сбыть фальшивые. Я упираюсь. Тогда он начинает навязывать думские. Но и думских я не беру. Наконец, я решительно заявляю:

— Когда речь идет об интересах рабоче-крестьянской власти, надо быть во всеоружии не только веры в ее дело, но и во все средства для достижения нашей цели. Я не верю ни в фальшивые финские, ни в думские. 10.000 в настоящей валюте!

И комиссар соглашается:

— 9.000 финских и одна — думская.

— Пусть!

Через минуту у меня — деньги и готовое удостоверение. В нем: «Всем представителям рабоче-крестьянской власти и ее учреждениям предписывается всесторонне и всемерно оказывать содействие служащему главного штаба, Владимиру Владимировичу Брыкину».

Я ухожу. Меня сопровождает Леонтьев. Мы проходим через соседнюю комнату, на меня опять пристально смотрят глаза таинственного морского офицера. Через четвертую боковую дверь мы попадаем в знакомую пустую комнату без мебели. Леонтьев наклоняется к моему уху.

— Будьте милым, привезите из Финляндии башмачки моей восьмилетней девочке.

Еще тише:

— Лайконен — нащ. Это князь Чарвадзе. Помогите вам Господь!

На другой день я — у князя. Он обворожителен. Мне нравится его спокойный и уверенный тон. Меня он спрашивает:

— Ваша фамилия?

— Брыкин.

— Неправда!

Я молчу. Тогда он подходит к столу, выдвигает ящик и приносит мне две моих фотографии. Я говорю:

— Михаил Иванович Зверев.

Я сам удивляюсь, что существую, что на свете есть еще Михаил Иванович. В эту минуту Чарвадзе мне кажется особенно близким, почти родным, единственным человеком в мире, в присутствии которого я еще остаюсь прежним, подлинным, настоящим, а не поддельным, фальшивым, выдуманным лицом в маске, с так чуждо звучащим для меня именем «Брыкин».

Поздний вечер. Мы сидим вдвоем. Ночью я выеду. Под утро меня перетолкнет красный финн на тот берег.

— А этого финна — бойтесь! Это — ихний. Ни одного лишнего слова!

Наконец, часы бьют 12. Я встаю, мы прощаемся, я выхожу на двор, огибаю забор. В темноте я различаю лошадей. В последний раз оглядываюсь на огни дома.

Быстро мчат маленькие, крепкие, сытые кони. На пустынном небе неподвижно сверкает единственная звезда. Огненными стрелами взлетают и гаснут мысли. Но сердце спокойно. Будь, что будет!

Только по временам по телу пробегает дрожь. Должно быть, нервная.

Финн ударяет по лошадям. Бег усиливается. Мы подсакиваем на ухабе, и в тот же миг мой мозг прорезывает подлый и хищный оклик: «Стой!» Это я задремал, и у меня случилась слуховая галлюцинация. Позавчера так крикнул в воротах убитый Томашевский.

V

Испытание

— Ах!

Электричество потухло.

— Зажигайте поскорей!

Даже в темноте я почувствовал, как Зверев вздрогнул.

— Сейчас зажгут! У меня это бывает часто.

Комната осветилась.

— Простите! Но я так привык к этим странным сигналам.

— А! я понимаю. Оцепленный район? Было?

— Не торопите! Все было... Да, так об этом... Ночь памятна. Конечно, это была только слуховая галлюцинация. Прошло — и все стало ясно. Ясна даль, ясна мысль.

Но кто же едет со мной? Кто он, который везет меня... куда?

Тогда я спросил:

— Кто вы?

И вдруг гибкое тело, улыбающееся лицо, легкий смех:

— Я — адъютант Рахии.

Боже мой! Рахия! Страшное имя! Я знал его. Кровавый, ожесточенный, кем-то и чем-то навсегда озлобленный в этом мире, помесь дерзости и хищничества, Рахия! Это — его адъютант! С ним я еду. Сердце сжимает страх. Невслышно скрипят мои зубы. Вот кому я передан. Но сдержанность! «Брыкин», успокойся! Молчи, сердце! Владимир Владимирович, улыбнись!

Мелькают странные мысли, встают безумные сопоставления:

— У меня на козлах — Дзержинский.

— Не наш, так их.

Меня везут... Куда? Верить или не верить? Возница — адъютант Рахии — оборачивается ко мне :

— Ну, а вы кто?

Смеется.

— Ну, кто я. Известно: большевик!

Улыбается. О, эта улыбка! Как хорошо было бы сейчас в этой снеговой пустыне прикончить этого человека, и не будет ни следа, ни воспоминаний и даже угрызений совести. Михаил Иванович, вам это не в первый раз? Вы уже убили? В чем дело? Выньте револьвер! Но нет! Приказ, повинование, дисциплина, назначение!

Режут сани пушистость снега. Полозья не скрипят: так легок ход. И мыслей нет. Летим по берегу, вдоль границы, по болотам — вот и река Сестра. Какая пустыньность! Какая белизна! Наконец, пограничный пункт. Он называется: Рауту. Это слово для меня не ново: оно было указано князем. Останавливаемся. Я говорю про себя:

— Слава Богу!

Увы, преждевременно. Путь далек. Мы мчимся дальше. Наконец... Приехали. Никогда не забуду этих минут. Комендант... слышали такое имя...

— Какое ?

— Котка! О, замечательный человек!

Высокий блондин. Синие металлические глаза. В каждой черте — решимость. Я вхожу. Он оглядывает меня с головы до ног.

Он говорит:

— А! Наш!

И в тот же самый миг двое вводят белокурого человека. Адъютант Рахия — около меня. Он хохочет. Удивительно! Что смешного? Оказывается, это двое финских красногвардейцев поймали белого финна. Он входит, и на его лице написана одна равнодушная готовность умереть. Губы сжаты. Голова закинута назад. По-моему, шапка сидит немного нескладно. Этому человеку не надо смотреться в зеркало!.. Перед смертью никто не смотрится в это страшное стекло! Он знает, что через несколько минут его голова разлетится вдребезги.

Металлический и спокойный, Котка встает. Я напрягаюсь. Я слежу за каждым его движением. Наконец, не выдерживаю. Обращаюсь к моему вознице, адъютанту страшного Рахии. Я прошу:

— Будьте добры, переведите мне все, что будет говорить товарищ Котка.

Он дружелюбно треплет меня по плечу:

— С удовольствием! А любопытно ?

Я собираю все мускулы лица, чтобы изобразить улыбку. Я говорю:

— Я думаю — интересно! Хе! Смерть врагов — наша улада. Ха! Чем меньше будет их, тем больше нас.

И сразу вздрагиваю. Вздрагиваю от лжи, от внутреннего беспокойства и от неожиданного окрика — Котка требует:

— Револьвер!

Я боюсь, что мои нервы не выдержат. Неужели это случится при мне? Но ничего нельзя сделать. Я не могу схватить за руку этого страшного человека. О, если бы сразу встать, сжать это горло, смять и, подняв его револьвер, расстрелять весь барабан в голову, в сердце, в живот, потому что я знаю: это — смертельные раны. Я знаю.

Но — нет! Я молчу. Напряженный, иступленный, взбешенный и в то же время покорный, выдавливая сочувствие на лице, я вдруг чувствую на себе устремленный, стальной взгляд Котки. Котка говорит:

— Ха, так ты — белый?

И вдруг приказывает:

— Лицом ко мне! Затылком в стенку!

Неподвижность. Точность. Белый финн — у стены. На мгновение мне кажется, что он старается вдавить заднюю часть своего черепа в эту белую каменную стенку. Всем сердцем, всем напряжением моих нервов, моей бедной любовью и теми остатками героизма, которые теплятся в человеческой душе, я хочу, я желаю, порываюсь его спасти, заслонить, вырвать этого человека из рук проклятой и подлой смерти.

Раздается выстрел.

Не прямо, а вкось (в этот момент я ловлю себя на трусости), — внезапно оглушенный, я смотрю туда.

— Слава Богу!

Пуля вонзилась около виска. Я спрашиваю себя:

— Случай?

Но в этот момент Котка стреляет вторично. Пуля — над головой белого финна. Третья, четвертая, пятая. Мои ежесекундные вздрагивания. Я сам прощаюсь с жизнью.

— Нет!

Мы живы оба — и я и он, — и только окружность из пуль обрамляет гордо закинутую, ни разу не дрогнувшую голову. Светлые глаза глядят смело и вызывающе. Два барабана расстреляны. Котка требует второй револьвер. Адъютант Рахии смеется... Браунинг подан. Еще раз я внутренне содрогаюсь.

— Вот!

Раздается выстрел... Темно-синяя густота, в которой я читаю ненависть, оскорбленность и последнюю решимость, этот взгляд обезумевшего палача останавливается на мне. Секунда... Взгляды встретились. Я отвожу свой. Мне страшно, больно и обидно... О, если б!

Но — сдержанность! Молчание! Тишина! А может быть, убить? Так просто: вырвать револьвер, и никакого Котки нет! Да!

Но рядом — адъютант, в соседней комнате — красногвардейцы...

— Михаил Иванович, расчет! Михаил Иванович, уравновешенность!

...Трах!

Мысли, чувства, надежды, весь пламенный круг, очерченный мстостью, бездной и мужской силой, пролетают, как мелькнувшее и погибшее сознание. Вновь произнесено неизвестное слово.

Хочущий адъютант Рахии переводит:

— В профиль!

И я вижу, как белый финн сделал:

— Раз-два!

Щелкнул каблуками. Все то же: закинутая голова, надменность черт, спокойствие. Белый финн теперь стоит к нам в профиль.

...Трах!

Раздается выстрел. Мельком взглядываю. Котка напряжен. Сквозь рукав я ощущаю злое острие локтя, упор для верной стрельбы.

— Кончено! — говорю я про себя. Одна, другая, третья, четвертая, пятая — пули осыпают зигзаг (страшный зигзаг!): пули вычертили профиль человека, приготовивше-

гося к смерти.

Вдруг резким движением Котка откидывает револьвер. Он ударяет его о противоположную стену. Из уст Котки вылетает:

— Ох!

Белый финн недвижим. Убит? Оглушен? Издевается?

— О, чудо мое! — хочу я крикнуть.

Но встает сам Котка, и, обращаясь к белому финну, он говорит:

— Ступайте! Но на советскую границу не пущу. Вернетесь к нам! Вы — спасены. Запомните: отныне ваш Бог — страшный Котка. Расскажите вашим белым мерзавцам о том, как хорошо стреляет Котка...

Он вызывает красногвардейца. Короткий приплюснутый нос под огромной меховой шапкой, пустые глаза. Котка еще раз говорит на неизвестном мне языке. По-фински! Я спрашиваю адъютанта Рахии:

— Что же он сказал ?

— Котка сказал: перевести к нашим так, чтобы навек забыл все.

Что это значит? Мне не надо долго задумываться над этим вопросом. Через несколько минут я слышу выстрел. Нужно ли было так долго мучить человека, вычерчивая его череп, его голову, его профиль с такой беспощадной меткостью?

— Прощай, гордец! прощай, смелая душа! прощай, герой! Я тебя не защитил, я не спас тебя. Да будет проклято мое имя!

VI

«Тайна и кровь»

Подергивалось нервное лицо, глухой голос то звенел, то погасал. Ноты злобы прорезывали воздух небольшой комнаты. Было накурено. Я открыл форточку. Вполз роб-

кий свет зачинавшегося предутрия. Только тут я заметил впервые морщину, пересекающую этот молодой лоб.

Зверев рассказывал:

— Проклясть себя нелегкое дело. Проклясть — значить восстать. И, действительно, душа восставала против себя, людей всего мира, против Бога. Оставался один выход: найти пути к примирению, подчиниться и твердо идти до конца. Да, но путь длинен!

От Котки меня везут на кавалерийскую заставу. На миг мне кажется, что я примирился со всем. В вечернем сумраке, среди обширности полей, под низким небом наступает успокоение. Как хорошо я поступил, сдержав себя до конца! Убить Котку?.. Разве мало палачей, кроме него! Ровно бегут сани. Бегут и часы. Снег рассеивает тревогу. Он дарит мудрость. Вот пройдет еще час, и я — на том берегу. Рядом со мной в санях едет адъютант Рахии. Мне все равно. Мое сердце безгневно. Должно быть, я очень много пережил за один час пребывания у Котки.

Адъютант говорит:

— Сейчас станешь на лыжи.

Через четверть часа мы — я, он и двое красно армейцев — несемся на лыжах к границе. Лес, белизна, тишина, азарт. Умерли даже предчувствия. Ни страха, ни злобы, ни надежд. Человеку дано еще великое спасение в равнодушии и покое. Вот и обрыв реки. Мы — на опушке.

— Тише!.. — говорит адъютант. — Смотрите! Вот...

Он показывает мне на тускло виднеющуюся деревню.

— Видите, огонек в хате? Туда и держите направление. Это — наши.

Отдаю парабеллум. В левом кармане полушубка у меня остается браунинг. Мы прощаемся. Бесшумно удаляются мои спутники на лыжах. Через несколько минут я перейду границу.

Я опускаю руку в боковой карман, вынимаю мои фальшивые документы, я с наслаждением разрываю их на мелкие клочки. Одна из этих бумаг, во всяком случае, неплоха. Она давала мне право неприкосновенности. Секретный агент главного штаба Владимир Брыкин не мог быть обы-

скан даже самым могущественным чекистом. Послужной список капитана Михаила Зверева я извлекаю без труда. Он у меня зашит в пояс. Если б был обыск, эту бумагу нашли тотчас. Но нет! Жизнь идет в заколдованном и странном кругу: меня нельзя обыскать, а я с двумя фамилиями, с двумя документами, я — красный и белый, ходячий подлог, и именно потому, что я — подлог, я неприкосновенен. Все спуталось. Помогите мне, Боже, не сойти с ума!

Иду по тропе. Лес остался сзади. Вдруг окрик. Как странно — на немецком языке:

— Halt!

Почему не по-фински? А не все ли равно!.. Два финна требуют у меня паспорт. Это — белые. Меня препровождают в деревню... 5 часов утра. Но в избе, на которую указывал адъютант Рахии, все еще мерцает огонь. Неожиданность. Вот чего я ни в каком случае не мог предполагать. Двое белых меня ведут в эту самую хату. Все спуталось. Мы входим. Солдаты говорят с хозяином. Он переводит это так:

— Они спрашивают: есть ли у вас деньги? Показывайте 600 марок. 500 вы имеете право держать у себя. 100 — им.

Я вынимаю из кармана 600. Все кончается быстро. Оказывается, меня должны переправить на пункт. Снова идет разговор между задержавшими меня финнами и хозяином хаты. Он объясняет:

— Они спрашивают: не наймете ли вы лошадь? Идти далеко.

— Ну, конечно.

Мы едем. На пункте меня будут опрашивать. Мог ли я думать, смел ли я предполагать? Предо мной — Кунцевич и Оболенский! Кунцевич — крупнейший чиновник петербургской уголовной полиции. Оболенский — бывший градоначальник. Они внимательно прочитывают мой послужной список. Я говорю:

— Можете не читать. Здесь все ложь.

— Значить, вы — не Зверев?

— Нет.

— Как же так?

— Очень просто. Мои настоящие документы я должен был уничтожить, потому что мне угрожал обыск.

Да! И этим людям я не имел права открыться. На этом пути, в эти минуты я нес на себе неснимаемую маску. Мой долг был молчать и скрываться. И твердым голосом я заявляю:

— Я никогда в жизни не был офицером.

Это не возбуждает сомнения. Ведь это я говорю не большевикам. Для этих людей мой послужной список — отличная рекомендация. Если я говорю, что этот документ не мой, этому можно верить. Меня отправляют в карантин.

Вы спрашиваете, что это за штука? А это просто несколько дач, обнесенных оградой. Вот и все... Однообразная, тусклая жизнь... Единственная радость — прогулка. Ежедневно с наслаждением я вышагивал эти версты, обходя один и тот же кусок, как лошадь на корде. Но однажды мне суждено было пережить величайшее волнение. Уже к самому концу прогулки, смотря мне в глаза ласковым и строгим взглядом, шел высокий черный человек. Отдельные серебряные нити пробивались в его черных, гладко причесанных волосах, и был тонок и умен орлиный профиль его лица.

Бывают странные ощущения, предзнаменования, пророчества, угадки. Так случилось и в этот раз. Уже за несколько шагов до встречи я знал, что он заговорит со мной.

— Здравствуйте! — смело сказал он.

Я не мог скрыть моего удивления. Он это заметил.

— Как ваша фамилия? — спросил он тихо.

Я улыбнулся:

— Почему вас это интересует?

— Вы сейчас узнаете.

Я молчу.

Еще раз:

— Как ваша фамилия ?

Я засмеялся. Мне захотелось шутить и рисковать. Я ответил:

— Брыкин.

Он посмотрел на меня сверху вниз:

— Неправда! Вы — не Брыкин. Но с этих пор вы — и не Зверев. Поняли?

Я почувствовал, что бледнею. Нет ничего страшнее человека, читающего тайны чужой души, заглядывающего в то, что затаено и навеки скрыто.

— Не бойтесь! Не волнуйтесь!

Он дружелюбно и властно взял меня под руку.

— Пройдемся к морю... Очень прошу вас быть со мной совершенно откровенным — говорит он.

Я молчу. Разве я смею быть откровенным с кем-нибудь во всем мире?

— Мне можете говорить... — продолжает он.

Я колеблюсь.

— Поймите, что вся ваша дальнейшая работа зависит от меня. Если вы скроете ваше задание, вам нельзя будет сделать ни одного шага вперед. С этого момента я — и только я — могу вам указать дорогу и поставить цель.

Но я упорен. Я никому не смею доверять. Я нем.

— Это похвально. Осторожность в нашем деле — все.

Он крепко стискивает мою руку выше локтя.

— Я буду решительней. Можете узнать мою фамилию.

Я — Берез н.

Мне это ничего не объясняет. Я продолжаю безмолвствовать. Только на один короткий миг у меня пролетает волнующая мысль:

— Почему он все-таки знает «Зверева»? Но он знает... Значит...

...Сказать или не сказать? Быть может, открыться?

— Расскажите мне ваше задание!..

Молчу.

— Ну, тогда я вам скажу пароль.

Я настораживаюсь. Важно, твердо и медленно он произносит:

— «Тайна и кровь».

Я вздрагиваю. Я повторяю за ним:

— Да. Тайна и кровь.

— Теперь доверяете?

— Да.

— Ваше задание?

Но я не решаюсь. Он останавливается, медленно и спокойно повертывает меня лицом к лицу, мы смотрим друг другу в глаза.

— В таком случае я вам назову начальные буквы имени того, кто один имеет право распорядиться нашей жизнью и судьбой.

Я опускаю глаза. Березин торжественно отчеканивает:

— Эти буквы суть следующие: «Д» и «П».

И я протягиваю ему руку и приношу извинение.

— Простите — говорю я. — Но вы сами понимаете...

И тотчас же рассказываю ему мое задание.

VII

№ 2333 и № 456

Березин был прав. Все случилось так, как он говорил. Одно за другим у меня возникали теперь все новые и новые знакомства. Иногда я сам себе казался каким-то контрабандным товаром, который передают с рук на руки из-под полы. Я переходил от одного неизвестного человека к другому, будто из класса в класс, сдавая короткий, почти немой экзамен... на какой аттестат? На аттестат и звание контр-разведчика, соглядатая, шпиона!

Через две недели меня выпустили из карантина. Я поселился в териокской гостинице «Иматра». Какая удручающая скука в Териоках зимой! Когда-то я жил здесь летом. Помню концерты приезжавших писателей и певцов, оркестры музыки — все ушло, все изменилось, и я — не тот.

...Вот я брожу по номеру. Чего я жду? Что случилось со мной? В эти дни тишины и уединения я припоминаю последние два месяца моей жизни, эти ночные звонки из чека, обыски, милицейский участок, страшный призрак убитого Томашевского, спокойного Червадзе, страшного Котку, пункт

и заставу, неожиданную встречу с Березиным, его глаза гипнотизера... Куда я иду? Не качусь ли я в пропасть? Чем кончится все это?

— Вы понимаете, — спросил он, обращаясь ко мне, — всю потрясенность человека, которого ведут неизвестно куда с завязанными глазами. Но надо идти! Возврата нет. Отступлений не может быть.

Я задаю себе вопрос:

— Кого я встречу теперь? Кто следующий на моем пути?

В час дня — стук в дверь.

— Entrez!

Входит неизвестный. Элегантный костюм последней моды, тщательный пробор режет голову пополам. Человек говорит на чистейшем русском языке.

— Позвольте вам представиться: Епанчин.

Потом наклоняется к моему уху и чуть слышно и раздельно произносит пароль. Я киваю головой. Пароль верен.

— Сейчас мы должны ехать, — объясняет он.

Небрежным движением белой холеной руки он бросает на стол кусочек картона и сложенную вчетверо бумагу.

— Билет до Гельсингфорса и пропуск.

Он прибавляет:

— Мы едем вместе первым же поездом.

Я смущен.

— В Гельсингфорс? — переспрашиваю я. — Но вы видите, как я одет.

Еще бы эти глаза не рассмотрели моего одеяния!

— Ничего. Пустяки! Все будет...

Улыбается:

— Мы все переходили в таком виде. Не смущайтесь!

Я надеваю мой полушубок. В эту минуту он мне кажется особенно убогим. Мы идем на станцию. Епанчин обращается к железнодорожному полицейскому и что-то говорит по-фински. Тот почтительно кланяется. Мы входим в вагон. Епанчин меня предупреждает:

— Наш разговор здесь должен происходить только на немецком языке.

С минуту он молчит и повелительно доканчивает:

— Во все время пути ни на одной станций вы не имеете права никуда выходить! На остановках вы не будете смотреть из окна.

— Как странно! — мелькает у меня мысль. — У нас — пропуск до Гельсингфорса. Мы едем совершенно открыто. Я почему-то не должен ни выходить, ни смотреть...

По-видимому, мой спутник угадывает мои недоразумения.

— Это необходимо, — разъясняет он. — Конечно, мы доедем совершенно беспрепятственно. К сожалению, я не могу вам сказать, кто — я. Вы это узнаете потом. Пока запомните, что мы окружены врагами. Мы ведем наблюдение за ними, они следят за нами. Любой кондуктор может оказаться красным агентом. Будьте настороже! Ни одного слова по-русски!

Все это он произносит шепотом.

Поезд грохочет. Мы оба откинулись в углы диванов. Епанчин сидит против меня. Я начинаю дремать.

Наступает ночь. Эти часы кажутся вечностью. Казалось бы, эти недели карантина и уединенной, никем не нарушаемой жизни в заброшенной териокской гостинице должны были дать отдых душе и телу. Но у меня — страшная усталость. Я чувствую себя слабым, будто после тяжелой болезни или длительного голода. Дремотный сон в этом покачивающемся вагоне приносит мне тяжкие кошмарные видения...

Мне снится, будто я закружился в большом белом поле, и вот на меня злобно бросаются три черных собаки. На снегу их шерсть кажется особенно страшной. Вдруг я вижу, что их морды окровавлены и из пасти торчат огромные, конусообразные, желтые зубы, но и они растут не так, как у всех, а под углом к челюсти и выпирают наружу. И я чувствую, несмотря на сон, я явственно слышу, что кричу. В тот же миг кто-то начинает меня тряссти.

— Тише! Чего вы кричите? Что с вами?

Это — Епанчин. Я просыпаюсь от темного хошмара. Как тяжело! Епанчин гладит меня по колену:

— Успокойтесь! Не надо нервничать! Соберите ваши силы! Самое ответственное еще впереди, а вы уже начинаете сдавать... Нехорошо! В Гельсингфорсе возьмите душ, выпейте чаю с ромом и засните... Вам придется отдохнуть...

Я смущен. Мне стыдно за мою слабость, за мою нервность, за мою невыдержанность. Он отводит глаза в сторону. От бессонной ночи лицо его бледно. Его уверенность и подтянутость, так импонировавшие мне в «Иматре», исчезли. Он говорит:

— Не смущайтесь! У всех нас — то же самое. Никому не легко. Многое приходится переживать. Но дальше будет еще трудней. Самое тяжелое — впереди.

В окно льется белый свет северного зимнего утра. Епанчин вынимает часы:

— Через 15 минут приедем.

В 5 мы — в Гельсингфорсе, Епанчин берет извозчика:

— В отель «Societe».

Поднимаемся по лестнице, проходим коридор. По обе его стороны — номера. В глубине прямо на нас смотрит № 11-ый. Епанчин стучит сгибом указательного пальца: три удара. В ответ:

— Войдите!

В комнате — шесть человек. Мой спутник делает общий поклон и, словно после выполнения очень сложной и ответственной миссии, с облегчением говорит:

— Привез!..

И вслед за этим я слышу несколько обрадованных голосов:

— Наконец-то — вы!.. Очень рады. А мы уж, было, потеряли надежду. Ну как? Все благополучно?

Обрадован и я. Этих людей я вижу впервые. Но искренность приветствия, эти открытые лица, сильные, крепкие пожатия рук, дружелюбие встречи, радость голосов сразу вливают в мою душу давно забытую бодрость. Усталость забыта. Слабости нет и в помине.

Спокойно, с улыбкой на лице, обводя присутствующих ласковым взглядом, я отвечаю:

— Конечно, все благополучно.

В эту минуту все шесть человек, сидящих вокруг большого стола, кажутся мне близкими, родными, дорогими, будто братьями. Но отворяется дверь. Входит новое лицо.

Вошедший становится ко мне вплотную, смотрит в упор, твердо выговаривает:

— Генерал Лопухин.

Его глаза пытливы, его лицо грустно, вдумчиво и серьезно. Он произносит слова раздельно, как команду, и резко, как приказ:

— Вам верю. Пойдемте ко мне!

Через минуту мы — вдвоем. Он спрашивает:

— Ваше задание?

Я докладываю.

Он задает мне вопрос:

— Кому-нибудь еще сообщили?

— В карантине... Березину.

— Правильно! Еще кому?

— Никому.

— Правильно!

Потом:

— Советские документы пронесли или уничтожили?

— Уничтожил на границе.

— Как назывались?

— Владимир Владимирович Брыкин.

— Номера документов запомнили хорошо?

— Хорошо.

— Запишите... вот здесь.

Он вынимает записную книжку, раскрывает ее, твердым ногтем проводит черту.

Я пишу: «Паспорт № 2333. Удостоверение № 456».

Лопухин говорит:

— Здесь будете называться Алексей Федорович Вольский.

Вручая мне документ, он прибавляет:

— Это — гарантия вашей полной безопасности на всей территории Финляндии.

Я делаю поклон. Генерал протягивает мне руку.

— До свиданья. Послезавтра утром снова явитесь ко мне. Сейчас можете идти. Осмотритесь и отдохните. Никому ни

одного лишнего слова! Будьте осторожны со всеми.

Я выхожу. У меня — третье имя! Сколько же их будет всего? И что вообще будет? Что ждет меня?

На третий день утром я — снова у генерала.

— Сегодня же вы отправитесь назад в Петроград.

— Слушаюсь! Но мне дано было задание.

— Оно уже выполнено.

Я поражен.

— Когда?

Вместо ответа он подает мне тонкий листок нежной шелковой бумаги. С обеих сторон он весь усеян тесными громоздящимися строками, напечатанными мельчайшим шрифтом пишущей машины. Лопухин чуть-чуть улыбается:

— Выучите обстоятельно. Это — выполненное задание советского штаба. Туда вы доставите эту бумажку. Если в штабе вас спросят, связались ли вы с резидентом Перкийяненем, отвечайте: связался.

Он предлагает мне сесть и, похлопывая ладонью о стол в такт словам, раздельно и медленно, внушительно и требовательно приказывает:

— Теперь получите наше задание... Заметая следы, хорясь и скрываясь, вы вернетесь в Петроград. Вы явитесь в штаб. Пред этим вы отправитесь на Сергиевскую к Феофилакту Алексеевичу. Ему вы расскажете все...

...Так вот кто этот человек с бородой в роговых очках!
— проносится у меня в голове.

А Лопухин продолжает:

— Ваша задача — получить сведения о численности и дислокации красных войск от Ладожского озера до Финского залива. В частности, вы должны особенно тщательно установить степень боеспособности петроградского гарнизона. Затем вы должны обследовать и определить настроение Кронштадта, состояние дредноутов. Пригодность их к выходу в море. Имена начальников. Словом, все, что касается защиты петроградского и прилегающих к нему районов... Поняли?

— Понял.

— Сегодня, в 4 часа вы должны быть на гельсингфорс-

ском вокзале.

Из бокового кармана он вынимает и вручает мне советские документы. Подделка великолепна! Мельком взглядываю на номера: 2333 и 456. Я снова «Брыкин»! Как быстро возник и исчез Алексей Вольский! Воскреснет ли он когда-нибудь вновь?

— Счастливого пути! — прощается со мной генерал. Он поднимает руку и осеняет меня крестным знамением:

— С Богом!

Уже в дверях он добавляет:

— На вокзал явитесь в советском одеянии. Вас там встретят.

Как все неожиданно! Как странно! Какая спешность! Как мучительно жить все время окруженным этой двойной подстерегающей и беспощадной тайной!

VIII

Мария Диаман

.

Неделю тому назад меня окрикнул на улице адвокат Любарский. Он поднял шляпу, я снова увидел на его большой голове знакомую щетку волос и вдруг мне стало беспричинно весело. Это бывает. От всего его лица, фигуры, улыбки, больших зубов веяло здоровьем и добродушием. Он взял меня под руку.

— Слушайте, вы окончательно завоевали сердце и доверие вашего сурового контр-разведчика. Это — победа... Много рассказывал?

— Да, интересно.

— И о подвале?

— Нет, о подвале не говорил.

— А о даме в черном?

— Тоже нет.

- Значит, вам предстоит любопытные беседы.
- А знаете, ведь он превосходно рассказывает.
- Я думаю. Когда-то это был настоящий покоритель...

На этом и сорвался. Под гору его понесла любовь.

— А! — воскликнул я. — Знаю. То есть не знаю, а догадываюсь.

- Ну, называйте.
- Извольте. Эта женщина — Мария Диаман.
- Пусть он сам вам скажет.
- И скажет...
- Может быть, и утаит.

Мы простились. Любарский спешил на совещание.

В тот же вечер я послал с посыльным записку Михаилу Ивановичу: «...Грех забывать друзей. Сегодня я нашел ваш любимый амстердамский ликер. Жду в 8. Приходите».

Я его встретил в передней.

— Сейчас я выведу вас на чистую воду.

— Мои воды темны.

Мы сели. Я сказал:

— А знаете, что я слышал? Будто в вашей жизни и всех ваших злых испытаниях роковую роль сыграла женщина. Правда?

Михаил Иванович промчал. Снова дрогнула левая щека. Почувствовались внутреннее напряжение и тяжкая борьба.

- Может быть.
- Расскажите или секрет?
- Может быть.

Мы чокнулись.

— Мне неясно, — сказал я, — почему из Гельсингфорса вас так скоро отправили?.. Ведь сами вы там ничего не успели сделать.

— Теперь-то мне ясно. Меня испытывали. Готовность сделать еще не есть способность сделать. Ну, словом, в 4 часа я, конечно, стоял на гельсингфорсском вокзале, и первый, кого я там встретил, был Епанчин. Могу вас удивить: под этим именем скрывался офицер финляндского генерального штаба.

В скором поезде, в отдельном купе мы едем с ним на Выборг и дальше на границу. Пред самым Выборгом мой спутник обращается ко мне с просьбой:

— Выйдите минут на 10 в коридор.

Странно! Непонятно!

Ради конспирации лучше сидеть, запершись в купе. Зачем ему понадобилось это?

Встаю. Выхожу. Хаос мыслей. Тяжелые предчувствия. Опять граница... переход... часовые... допросы!.. Дверь из купе чуть-чуть приоткрывается. Я вхожу. Я поражен. Во мне все цепенеет. Кто подменил моего спутника? Когда успел сесть в это купе человек в кожаной куртке, с бородкой и в морщинах? Где же Епанчин? Он спокойно бросает по-немецки:

— Не узнали? что и требовалось!

Я на него смотрю с удивлением и одобрением:

— Да, хорошо.

Поезд мчит нас дальше. Сейчас будет Олалила, наш последний пункт.

— Идите в первый от паровоза вагон и уже из него на станцию. Я выйду из последнего вагона. Мы встретимся на дороге, в полуверсте от станции.

На платформе, в станционном зале — люди. В каждом из них мне чудится враг. Они внимательно следят за высадившимися. Спокойно, не торопясь, я выхожу на дорогу и так же не спеша иду в течение восьми минут. Тогда убавляю шаг: полверсты пройдено. Оглядываюсь и вижу Епанчина.

Но вот и форпост пограничной стражи. Епанчин что-то говорить по-фински, и мы направляемся к границе в сопровождении лейтенанта и унтер-офицера. Печальный расцвет стелется по земле и тихо умирает на опушке леса. Мы ускоряем шаг. Едва минуем кустарники, как из-за деревьев громко и неожиданно слышится:

— Halt!

Я вздрагиваю. Но унтер-офицер твердо отвечает по-фински:

— Suomi!

Это — пропуск. Еще несколько минут. Вот — и граница. До нее мы добегает согнувшись. У проволоки — последнее пожатие руки. Мы прощаемся. Епанчин дает мне парабеллум. Я слышу ободряющее:

— С Богом!

Это — первое слово, за все время сказанное Епанчиным по-русски.

Я — один. Крещусь и пролезаю под проволоку. Все тихо. Белизна, молчание, безлюдье... Пригнувшись к самой земле, я бегу по снежной целине.

— О, Господи, помоги!

Вдруг :

— Стой!

Пули жужжат около моего уха. Я бросаюсь в снег, я вынимаю парабеллум, лежу и жду. Подбегают четверо, это — красные часовые. Я арестован!

Они приказывают:

— Оружие!

Я быстро поднимаюсь и говорю:

— Я — неприкосновенный секретный сотрудник главного советского штаба.

На меня смотрят подозрительно.

— Извольте справиться, — твердо заявляю я. — Телефон № 32.

Это действует.

— Ну что ж, товарищи, — предлагает старший, — разговаривать нечего, надо обязательно препроводить.

И меня ведут к начальнику пограничного участка. Он вежливо кланяется. Я требую:

— Вызовите политического комиссара!

Он приходит. На его рябом лице написано презрение. Почему? Я вручаю ему документы и прошу справиться обо мне на разведывательном пункте. Короткий телефонный разговор. Через несколько минут я удостоверен. Плохо быть верблюдом даже в том случае, если пролез сквозь игольное ушко. Горб рос. На каждом шагу стерегла опасность. Увы! Она меня ждала не на границе. И эта опасность не пришла, а рухнула, как падает потолок. И тогда подо мной

затряслась земля...

Ну, что говорить! Вечером — я в Петрограде, на другой день, в 9 часов — в штабе. Не настораживайтесь: пустяки. Пришел, вызвал Леонтьева. Мы смотрим друг на друга. Я передаю ему тонкую шелковую бумагу и вынимаю из кармана тулупа детские башмачки.

— Видите, все выполнено.

Идем к комиссару. О Перкияйнене меня даже не спрашивают. Разве я мог без Перкияйнена принести такие сведения? Комиссар этого не допускает. О, наивность! Разговор короткий:

— Вот вам новое задание. Вот деньги. Распишитесь! Документы целы? Отлично!

Я опять получаю 9000 финских и 1000 думских. Леонтьев объявляет:

— Можете отдыхать три дня.

Я выхожу на улицу. Невский пуст. Я иду на Сергиевскую. Меня встречает все тот же Феофилакт Алексеевич: та же борода и роговые очки. Он выслушивает меня:

— Да! Да! Да! Так! Так! Дальше. Дальше. Ага!

— Когда я получу сведения о Кронштадте, дредноутах и гарнизонах?

— Через неделю.

— Невозможно.

— Почему ?

— Через три дня я должен выехать.

— Получите через три дня. Все-таки наведайтесь утром послезавтра.

Итак, сделано все. Как скоро! И вот тут-то случилось... Как бы вам это сказать?..

— Говорите откровенно.

Я наполнил рюмки ликером. Михаил Иванович встал и нервно заходил по комнате, потом круто повернулся :

— Ну, говорить, так говорить все! Я пошел к ней...

— К Марии Диаман?

— Может быть. Словом, к ней. Стучу. Широко и смело распахивается дверь: на пороге — она. Вы ее не любили, но ее можно или любить, или ненавидеть.

— А вы... любили?

— Может быть... Никогда еще она не была так прекрасна в этой изящной тонкости черт — это египетское лицо под иссиня-черным каскадом разбившихся волос. Я наклоняюсь к ее нежной руке, я чувствую воздушную легкость ее нежных пальцев. О, если бы в эту минуту она спела бы хоть одну фразу! Услышать этот голос великолепной певицы! Но — выдержка! Самообладание, Михаил Иванович, самообладание. Я спрашиваю:

— Полковник дома?

«Полковник» — это летчик Варташевский. С улыбкой розовых уст она откидывает назад милую гордую голову.

— Сейчас придет.

Она берет меня под руку, мы входим в маленькую гостиную, она садится на темно-синий диван, я становлюсь у окна и беспечно, бессмысленно смотрю на улицу. Присутствие этой женщины меня волнует. Она что-то меня спрашивает, и я ей отвечаю тоже что-то, потому что я сам с головы до ног, весь — готовый ответ на самый страшный вопрос, какой только может быть в человеческой жизни.

Но — вот: входит Варташевский. Мы перекидываемся незначительными словами.

Что случилось? Почему он не смотрит мне в глаза? Ведь мы были так близки. Может быть, недоволен? Ревнует? Невозможно: ему — ревновать меня!.. В чем же дело? В это время я слышу звонок. Мария Диаман открывает сама. В передней происходит разговор вполголоса. Я настораживаюсь: произнесено мое имя.

В гостиную входит человек. В раскачивающейся походке я угадываю: это — матрос. Он в новом штатском костюме, у него неумело повязан безвкусный галстук цвета клюквенного киселя с молоком. Человек протягивает мне большую массивную руку с короткими красными пальцами. Шепотом спрашивает:

— Вы — товарищ Брыкин?

— Я.

Я быстро оглядываю пакет. Даже для неопытного человека ясно, что это — грубая подделка.

С замиранием сердца я задаю вопрос:

— С Петербургской стороны?..

Он смотрит мне в глаза, желая уловить произведенное впечатление. И сразу бухает:

— От Трунова и Данилова...

Шепотом прибавляет:

— Они тоже ходят туда и назад. Очень желают вас видеть. Когда будете?

Тогда, собрав последние остатки воли и сил, я громко чеканю слова:

— Никакого Трунова и никакого Данилова я не знал и не знаю до сих пор.

— Ну, раз не знаете, тогда что же делать... Очень жаль.

Переодетый матрос уходит. Ясно: я — в сетях. Меня выслежили. Сомнений нет. Но надо сейчас же решить: была ли слежка за мной, когда я шел к Феофилакту Алексеевичу, или нет? Очевидно, была. Надо скорее решаться!

Молнией прорезывает мозг толкающая мысль:

— Бежать!

Я быстро целую руку Марии Диаман. Она отводит глаза в сторону. Варташевского в комнате нет. В эту минуту я слышу под окном шум подъехавшего автомобиля.

— Спасусь или погибну?

IX

На грани гибели

Эти часы, эти события проносятся, как один быстрый миг. Я бросаюсь из комнаты. Но Мария Диаман раскинула свои прелестные руки:

— Не волнуйтесь, ради Бога! — говорит она.

Эти расставленные руки, как преграды. На минуту она меня задерживает.

— Что вы делаете! Пустите!

Я распахиваю дверь и тотчас же ее закрываю за собой.

Куда? Как скрыться? Где мой приют? Спускаться вниз или бежать вверх?

Сейчас я нахожусь на черной лестнице. И она и площадка пусты. Конечно, не вниз!.. Это значило бы броситься прямо в объятия чекистов.

Я устремляюсь вверх. О ужас, о удивление! Мне навстречу бежит человек. Он или не он? Неужели это — Феофилакт Алексеевич? Каким образом? И почему он совсем не похож на себя? Без роговых очков, борода сбрита и, обычно спокойный, он каждым движением выдает свою нервность.

— Здравствуйте!

— Здравствуйте! Каким образом вы оказались здесь?

— Нас выследили. Бежим вверх! Надо скрыться.

Я с силой дергаю за ручку звонка. Мне отворяют. Это — квартира генерала Анисимова, моего хорошего знакомого. Вместе с Феофилактом Алексеевичем мы пробегаем кухню, я тотчас же щелкаю ключом. Потом мы минуем одну, другую, третью комнаты, идем через спальню, столовую, гостиную, кабинет и повсюду за собой я замыкаю ходы, я запираю двери.

— Фу! О, Господи!

Через переднюю мы выскакиваем на парадную лестницу, мы скатываемся вниз. В большое стеклянное окно, выходящее на улицу, я вижу приставленного часового. Все кончено!.. Я влетаю к швейцару.

— Вы должны нас спасти! Где хотите, но — спрячьте.

Швейцар отмахивается руками:

— Не могу, не смею, разве возможно? Вы сами понимаете... Уходите!

Разговаривать не о чем, все ясно: швейцар не поможет. Бог с ним! Но — о, счастье — из швейцарской несколько крутых ступенек ведут неизвестно куда. Не все ли равно? Мы сбегам по ним вниз, в подвальное помещение. Мое обоняние сразу ловит смесь запахов: мыла, сырого белья, грязи и плесени. Мы — в прачечной. В первой комнате у окна стоит женщина с ребенком. Она встревоженно смотрит в нашу сторону. Мы ее испугали. Я обращаюсь к ней:

— Спасите! За нами погоня. Укройте, где попало.

Голубые, добрые глаза растерянно оглядывают нас, Кричит ребенок. Одним легким движением головы она указывает на следующую комнату. Мы прыгаем туда. Это — полутемная конура. Мой глаз безошибочно определяет место, где мы сейчас спрячемся. Дверь открывается сюда, в комнату, и за ней — большая впадина в стене. Здесь когда-то находились трубы парового отопления. Мы вбиваемся в это углубление, мы затаиваем дыхание. Быстро, нервно и отчетливо стучит сердце. Прежде всего надо успокоиться. Тише, тише!

Но — что это такое? Я слышу возбужденные голоса. Они приближаются. Я безошибочно рассчитываю:

— Это они — в швейцарской. Так. Ну, конечно, швейцар отмахивается и отнекивается. Совершенно верно... Теперь они бегут сюда. Пять ступенек. Сейчас хлопнет дверь. Вот уже они рядом. Так и есть. Почему они так кричат? Пугают... или напуганы сами ?

— Проходил тут человек ? А может быть, и двое? Ну, отвечай! Все равно не укроешь! Отыщем на дне морском. Не игла, не потеряется.

В воздухе повисает злое, тяжелое ругательство. Я слышу, как они быстро отодвигают стол, комод, как падает корыто. Ребенок кричит душу раздирающим голосом. Хоть пожалели бы маленького! Черт знает, что такое! Какое мне дело до этого маленького? И почему его надо жалеть, а — меня нет? А впрочем, о чем я думаю?

Вдруг со страшным треском, шумом, громом распахивается дверь. Теперь они здесь. Две пары ног топчутся прямо перед моими глазами. Чекисты говорят:

— Да что же он провалился, что ли? Странное дело... Был в квартире Варташевского. Это уж как пить дать. Куда же делся ?

Другой высказывает догадку :

— Может быть, выпрыгнул в окно.

— Не может быть. Все целы.

Малейший шорох, неосторожное дыхание, одно единственное движение руки или ноги — и все кончено. Моя гибель стояла предо мной. Вот она!

— Боже, пощади!

Ноги медленным и ленивым шагом уходят. Каждая минута кажется вечностью. Шаги удаляются. Неужели спасен? Да, спасен! Надолго ли?

Почему-то шепотом я обращаюсь к Феофилакту Алексеевичу:

— Пожалуй, можно выходить.

— Вы думаете? А вдруг?..

— Ну, как хотите, я вылезая.

— Куда же вы пойдете?

Я подхожу к женщине с ребенком. Глаза прачки все еще таят глубокий, затаенный, неуходящий ужас.

Я говорю:

— Бог вам заплатит за вашу доброту. У меня тоже есть мать, и за то, что вы сделали для меня, Он сделает вашему ребенку...

Я глажу голову маленького. Девочка на меня смотрит доверчиво и ласково.

— Куда спрятаться?

Прачка пожимает плечами. Махнув рукой, отдаю себя на волю случая. Будь что будет! На цыпочках прохожу к швейцару. Он сидит в задумчивости, но, видимо, спокоен. Он даже не смотрит на меня. Я его понимаю: какой-то неизвестный прибегает, просит спрятать, нарушает покой, ставит его жизнь, жену, семью под угрозу. Его недовольство естественно. Я не решаюсь даже обратиться к нему.

Его жену я прошу:

— Укажите угол, дыру, яму, чердак, что хотите!

Она отрицательно качает головой. Я выхожу из швейцарской, я смотрю под лестницу.

— Неужели удача? Кажется, — да! Еще не приспел мой час! Провидению угодно хранить меня.

Лифт не доходит до нижней площадки. Машина давно бездействует. Через минуту я лежу, забившись в угол, скорчившись, съежившись, чуть не свернувшись в кольцо. Так

проходят час, другой, третий, так проходит ночь.

Хоть бы узнать: ушли они или все еще ищут и стерегут? Но и спросить некого. Надо сидеть и ждать. Кого? До какого времени? Неизвестно! Только теперь я ощущаю какую-то внутреннюю пустоту. Во мне просыпается голод. Я вспоминаю, что я не ел весь день. Хорошо, если придется сидеть недолго, в противном случае... Впрочем, физически я вынослив. Я начинаю дремать. В следующий миг я подношу часы к глазам. Они показывают семь. Тусклый свет падает на пол. Должно быть, через стекло парадной двери. Тишина мертвая.

Однако, надо разобраться в собственном положении.

Итак, тут же, неподалеку, у прачки, прячется Феофилакт Алексеевич. Я так и не спросил его, почему он вчера прибежал сюда. Очевидно, предупредить. Но почему он узнал, что я у Варташевского? Неужели ему сообщили о моем чувстве к этой женщине?

Вдруг огненной молнией, стрелой ужаса пролетает мысль:

— Все это не случайность. Почему меня должны были арестовать у этого человека? Почему Варташевский не посмел ни разу взглянуть мне в глаза? Почему его не было в комнате? Почему Мария Диаман своими расставленными руками пробовала помешать моему выходу? А что, если...

Сердце отвечает:

— Не может быть!

— Лжешь, сердце!.. Но, если тут предательство — о, я знаю, что мне делать!

Х

Спасенье

Ярко, остро и мучительно вспоминаются эти часы. Сколько их прошло? Сразу не угадывалось. Но явственно, как груз, как тягучая боль, ощущалось смешанное чувство униженного страха, ожидания, соединенного с мерцающими

надеждами, и злобы.

В этом сиденье под лифтом, среди пыли, грязи, сырости, в этой неудобной позе было что-то презренное и позорное. Ничем и никогда не усыпляемая гордость восставала и шептала колючие слова. Конечно, я делал правое и великое дело, я рисковал всем — моей молодой жизнью, близкими, связями, — были минуты, когда я казался себе героем, но вот, все-таки я сижу здесь, я скрываюсь, я таюсь, мне страшно, по моему телу пробегает дрожь. Я готов скрежетать зубами...

Потом наступало успокоение, и в этом временном отдыхе нервов память воскрешала все тот же образ Марии Диаман.

Она здесь, всего тремя этажами выше. Она ходит надо мной, а я, будто поверженный, валяюсь под ней: победительница и побежденный! В памяти вставал далекий вечер после театра. Она только что окончила свою роль. В черном бархатном платье, с золотым медальоном в форме крестика, она сидела в артистическом фойе. Подняв длинные ресницы, она смотрела на Варташевского, и казалось, во всем мире в эту минуту для нее не существовало никого. И тогда же я понял свою неудачу... Чего я добивался? Куда я шел? Зачем было потрачено так много сил? Какое детское безрассудство!

Вот и сейчас она там, наверху, с ним, любимым и счастливым, а я... Знаете, подполье всегда трагично. Но это запретное одиночество, окруженное тенью, страхом и враждой, становится особенно невыносимым, когда среди призраков, с которыми разлучен, реет образ любимой и обманувшей...

— А что, если вдруг сейчас застучат ее каблуки, и она сойдет по лестнице вниз — увижу я ее или нет?

Я чуть-чуть высовываю голову. В ту же минуту я слышу голос:

— Вон вы где... О Господи!

Голос — женский. Я вздрагиваю. Кто это говорит? Невольно оборачиваюсь. На миг мне чудится, что это — Мария Диаман. Но предо мной — жена швейцара. В ее руках

большая щетка. Я быстро встаю.

— Поймите же, что вы меня губите! Говорите правду: меня стерегут? Часовой у двери?

Я вырываю у нее щетку и отбрасываю, я хватаю эту оторопевшую женщину и вталкиваю в ее комнату. Швейцара нет. Я бросаю на стол пачку денег.

— Дайте во что-нибудь одеться! Ну, есть же у вашего мужа старая шапка... Старый костюм... Наконец, ливрея. Что-нибудь!

Я быстро пересчитываю брошенные деньги.

— Это — тысяча! Поняли?

Тогда она лезет под кровать, вытаскивает сундук, достает мне скомканную швейцарскую ливрею с галунами и мятую шапку, обшитую выцветшим золотом.

Я прошу ее:

— Давайте скорее небольшой носовой платок!

Его я засовываю в рот. Со стола я хватаю какой-то красный лоскут, быстро свертываю и подвязываю опухшую щеку. Через минуту я выхожу на улицу. Я смело делаю несколько шагов. Мягкими хлопьями падает снег. Привалившись на винтовку, часовой вяло глядит мне вслед. Ему нечего волноваться: сейчас мимо него прошел швейцар с подвязанной щекой, у которого флюс. Я иду без цели.

Ежесекундно, ежесекундно, на каждом шагу, с каждым биением сердца я чувствую за собой погоню. Меня охватывает дикая и толкающая вперед мания преследования. Я бросаюсь в трамвай.

Какое глупое решение!

На меня смотрят. В своем странном костюме, с опухшей щекой я должен обратить на себя внимание. Разве так скрываются? Схожу на первой остановке, бросаюсь в сторону, ускоряю шаги.

— Не торопись, — говорю я себе. — Успокойся!

Но я уже бессилён над самим собой. Я несусь к Сенной. Через открытые двери церкви Спаса видны теплящиеся свечи и несколько молящихся женщин.

Я опускаюсь на колени, и на меня снисходит тихий покой души: в эту минуту я не один. Потом поднимаюсь и

ухожу. Вынимаю часы. Уже 6. Значит, я просидел под лифтом 32 часа. Но голода нет. Я не чувствую никакой усталости.

Теперь я медленно бреду... Куда? Против воли, неуправляемые сознанием, ноги несут меня к моей прежней квартире. Там — Женя, моя сестра. Я стучусь, она открывает сама и сразу отшатывается, будто я явился к ней с того света:

— Откуда ты?

— Молчи. Здравствуй! Не бойся!.. Был обыск?

Мы проходим к ней в комнату, и тут она не выдерживает.

Опустив голову на руки, она начинает всхлипывать. Женя рассказывает мне, как ее запугивали, как приставляли револьвер к виску, как кричали и оскорбляли, как выпытывали признание и уверяли, что я давно во всем сознался и будет лучше для меня, если сознается она.

— Бедная моя, перестань плакать!

Я глажу ее по голове.

— Ну, видишь, ничего не случилось. Я пришел сюда потому, что тебе не грозит никакой опасности. Поверь мне! Ведь не могут же они почти две недели следить за тобой и за проходящими сюда!

Понемногу она успокаивается. Кладет свою русую голову ко мне на плечо.

— Какое у тебя усталое лицо! Ты бледен... У тебя дрожат губы... Ты не голоден?

— Ах, я устал... И измучен... И голоден... Только не спрашивай ни о чем!

Я даю ей денег. Женя заботливо укладывает меня в свою кровать, загораживает ширмой и сама ложится на диван.

Нашу квартиру уплотнили. Это хорошо. По крайней мере, меньше подозрений к входящим и выходящим!

Утром, наскоро съев кусок хлеба, я прощаюсь с Женей. Целуя ее, я говорю:

— До свиданья! Скоро увидимся...

Но про себя произношу: «Прощай!» и крещу сестру. Лишь теперь, только в эту минуту она впервые замечает мой странный наряд. Значит, и она утомлена не меньше,

чем я !

— Слушай... Ты бы переоделся. Это так нелепо.

Женя достает мою старую походную шинель. Большими ножницами она ловко срезает погоны. Я вздрагиваю. И снова моя душа вспыхивает огнями злобы, ненависти и протеста.

На улице я спрашиваю себя:

— Куда же теперь ?

Мне надо видеть Феофилакта Алексеевича. Но — что с ним самим? Спасся ли он или не спасся? Из прачечной выход был. Но даже если и спасен... Дома или нет? И надо ли рисковать? А может быть, в его квартире засада?.. Тогда — точка. Зверь сам пришел в свою западню! Но идти надо. Я должен получить выполненное задание. Иначе — с чем я явлюсь к генералу Лопухину?

И вот я — на Сергиевской, я стучусь в квартиру Феофилакта Алексеевича. Тишина... Молчание... Ни голоса, ни шума, ни стука!

— Все погребло, — шепчу я и уже решаюсь уходить. И вдруг — дверь открывается. Он!.. Феофилакт Алексеевич наскоро жмет мою руку.

— Имейте в виду, что за мной следят, — говорит он. — Но, слава Богу, целы вы.

Он быстро проводит меня через большую квартиру. Теперь мы стоим у крайнего окна большой гостиной. Оно имеет вид фонаря, и из его боковых стекол видна даль Сергиевской улицы и забеленный, запущенный Таврический сад. Феофилакт Алексеевич мне объявляет:

— Слушайте и не возражайте! Ваша миссия слишком важна. Сейчас вы получите от меня подробные сведения. Задание ваше выполнено целиком. То, что должно быть сделано, — совершено. Генерал Лопухин получит все нужные ему данные.

Он быстро сует мне мелко сложенную бумажку. Она может поместиться на одной четверти мужской ладони. Феофилакт Алексеевич прибавляет:

— Каждую минуту я жду ареста. Если до вечера они меня не схватят, им не поймать меня никогда. Но это может

случиться даже сейчас. Идемте! Вы должны знать, как уйти в случае попытки вас арестовать.

Через всю квартиру он ведет меня в уборную. Вдоль правой ее стены неприметно висит веревочная лестница. Феофилакт Алексеевич быстро поднимается по ней и движением сжатой в кулак руки ударяет в середину потолка. Я не верю своим глазам. Эта половина тотчас же откидывается вверх. Феофилакт Алексеевич объясняет:

— Там тоже уборная. Если стоять вот на этой верхней ступеньке лестницы, легко достать через открытый потолок за стул. Затем легкое напряжение мускулов, и вы — там, в следующем этаже...

Он дергает за веревку, будто для спуска воды из бака, и потолок захлопывается.

Тогда он доканчивает:

— Если бы вам грозила опасность и в следующем этаже, знайте, что и там из уборной ведет откидывающийся потолок — уже на чердак...

Я поражен.

Мы возвращаемся в гостиную, мы становимся снова у окна-фонаря, Феофилакт Алексеевич дает мне последнее объяснение к сводке.

Я пристально смотрю в окно.

И в эту минуту явственно слышу шум несущегося автомобиля. Как обострен мой слух, как болезненно напряжены мои нервы!

XI

Подозрения

Из боковых стекол окна-фонаря я увидел, как оцепляют дом. Автомобиль уже стоял у подъезда. Это было необычайно. Такие облавы производились только ночью, а теперь еще не было 11-ти. Нервно и часто стучало сердце. Гибель

стояла за нашей дверью. Феофилакт Алексеевич крепко сжал мне руку у локтя.

— Вот и конец, — сказал он. — Я погибну, но вы должны спастись.

— Только вдвоем.

— В таком случае я вам приказываю, как старший.

— Такого приказания я не могу исполнить.

— Молчите и слушайтесь! Поймите: ценой вашей жизни я не куплю моего спасения.

И вдруг решительно, быстро и твердо прибавил:

— Если вы не скроетесь через потолок, я сейчас же застрелюсь. Ищут не вас, а меня.

Он нервно и торопливо вынул из внутреннего бокового кармана пакет. На его углах и в середине краснело пять круглых печатей.

— Возьмите. Представьте Лопухину! Теперь я пуст... У меня — ничего. Прощайте!

Он обнял меня и перекрестил.

— Не забудьте о динамите и пироксилине! Их не отдавайте. Вы знаете, где они спрятаны.

Мы поцеловались. В ту же минуту раздался громкий и настойчивый стук в дверь. Я пробежал в уборную. Как белка, взобравшись по лестнице наверх, я ударил кулаком в потолок. И он открылся легко и сразу, став как бы продолжением правой стены. Я поставил левую ногу на нижний выступ бака, мгновенно закинул руку влево в отверстие, нащупал стул, притянулся, оттолкнулся и захлопнул открытую половину потолка. Маленькая уборная была темна. Повсюду кругом стояла мертвая тишина. Было непривычно и жутко. Я тяжело дышал, будто только что взбежал по крутой лестнице на высокий этаж. Я открыл дверь в коридор. В великом, страстном и чутком напряжении я на минуту прислушался: что происходит сейчас внизу? Я ждал выстрела. Такие люди, как Феофилакт Алексеевич, не отдаются живыми! Но безмолвие внизу было такое же, как здесь, наверху, будто не мой страх объят весь этот огромный дом и, придавив, не выпускал из-под своей оцепенелой тяжести.

...Чего я жду? Зачем? Я вернулся в уборную и стал шарить в темноте, ища и здесь веревочную лестницу. Ее не было. На минуту мелькнула страшная мысль:

— А что, если отсюда выхода нет?

Тихонько, на цыпочках я пробежал по комнатам:

— Может быть, есть стол... табуретка...

Ничего не было! Тогда я вернулся в уборную, вынул револьвер и его рукояткой стал выдалбливать углубление в правой стене.

Какой-то внутренний предостерегающий голос говорил мне, дрожа и торопясь:

— Ты стучишь. Не стучи! Могут услышать внизу. Если услышат, ты пропал. Остановись!

Но я продолжал долбить. Легко отпадала штукатурка. Через несколько минут стена белела тремя неглубокими выбоинами. Я ухватился за цепочку бака (только бы она не оборвалась!), сделал прыжок вверх и, висая, стал всходить, ступая по выбоинам стены, как по неверной лестнице с исцербленными игрушечными ступенями. Потом ухватился за бак. Теперь оставалось ударить в потолок. Лежа левой рукой на верхней доске бака, я толкнул вверх. Потолок не двигался. Я ударил вторично. Он не поднимался. Тогда, собравши последние силы, какие могли быть у висающего в воздухе человека, я резко стукнул в третий раз. И потолок мгновенно откинулся.

И в этом верхнем этаже было все так же, то же расположение комнат, тот же тяжелый и сырой запах, то же безмолвие и тишина. Чрез кухню я поднялся на чердак, пролез через слуховое окно и остановился в нерешительности. С этой высоты пятиэтажного дома предо мной открывалась головокружительная бездна. Одно движение, один неверный шаг, минутная потеря равновесия и — смерть. Но крыша была замечена снегом. Уже давно никто не сметал его. Я осторожно ступил. Крыша была сравнительно плоска. Балансируя, я дошел до края. Соседний дом плотно прилепился к этой стене, и без труда я перешел на следующую крышу. Теперь я хотел найти железную пожарную лестницу, ведущую на двор. Заваленный снегом, ее верх был

трудно различим. Я его отыскал не сразу. Наконец, я стал спускаться вниз. Страшные минуты!

А вдруг заметят, схватят, арестуют? Кто смотрит на меня в этот миг из противоположного окна? Быть может, председатель домового комитета? Быть может, чекист, вселенный в квартиру аристократического квартала? А разве мало было добровольных доносчиков! Но все прошло благополучно. Слава Богу! И первой мыслью было:

— Что делать?

Я решил позвонить в штаб — к Леонтьеву. Он ответил мне просто:

— Ждите меня в Пушкинском сквере.

У нас произошел странный и волнующий разговор. Я рассказал ему о случае в квартире Марии Диаман, о Варташевском, о Феофилакте Алексеевиче. Все было темно. Я ходил, как заблудившийся в незнакомом лесу.

— Как могли они узнать, что я пошел на квартиру Марии Диаман?

Леонтьев задумался.

— Вы подозреваете предательство? Это очень и очень возможно. Эта любящая пара весьма подозрительна. Конечно, Варташевского жаль, но прощенья нет! Вы говорите, что переодетый матрос на квартире у Диаман упоминал о Трунове и Данилове. Это очень скверно! Вы знаете, кто такой Данилов?

— Летчик.

— Да. А что он проделал — тоже знаете?

— Нет.

— В этом-то и вся суть...

— Расскажите же мне...

— Извольте. Варташевского наша организация поставила начальником воздушной обороны Петербурга. Слышали?

— Конечно.

— Своим помощником Варташевский сделал Данилова. Вам известен его талант овладевать простыми душами. Нас с вами он не обведет вокруг пальца. Но как он умел покорять сердца солдат, мужиков, матросов — удивительно!

Так вот-с, в эту воздушную оборону Петербурга наблюдающим комиссаром назначили матроса-большевика Орленкова. Он, главным образом, должен был следить за правильным расходованием сумм. Все деньги были в его полном распоряжении. Вот, Данилов на него и нацелился. Обхаживал, обхаживал, заговаривал зубы, заговаривал, а потом как-то подпоил да и говорит:

— А что, брат Орленков, скучно нам с тобой здесь? Власть — властью, пролетариат — пролетариатом, а жизнь-то уходит. Ведь у тебя, Орленков, невеста в Пскове пропадает, а ты тут сидишь и комиссаришь. Эх, я бы на твоём месте... сел на аппарат и айда во Псков! А что немцы там, так они ещё в ножки тебе поклонятся за аппарат.

У Орленкова так и взыграла душа: «Летим, — говорит. — Сейчас. Вдвоем!» В самый последний момент Данилов вдруг уперся: «Без денег нельзя. Без денег не лечу. Да и с чем ты прилетишь к невесте? Да и на что я там буду жить? Забирай казну, тогда — в путь». Ну, Орленкову уже совсем неважно. Разожжен парень. Не то, что деньги, а хоть жизнь бери... Ну, о дальнейшем, вероятно, слышали?

— Ничего не слыхал.

— А дальше просто. Деньги для сохранности взял себе Данилов, а когда поднялись, он в упор двумя выстрелами уложил этого несчастного Орленкова и преспокойно сбросил его труп у самого Смольного: получайте, мол, вашего замечательного комиссара; мне, Данилову, можете сказать: до свиданья, а денежкам — прощай!.. С тем и улетел — только его и знали. Вы понимаете, какой поднялся шум, грохот, стрельба, пальба и суэта? Ужас! Конечно, первый вопрос:

— Кем назначен Данилов ?

Ответ:

— Варташевским!

— Давайте Варташевского!

Арестовали, засадили в чека... вот тут-то и началось...

— Что?

— А вот что...

ХП

Судьба Варташевского

Леонтьев говорил, и с каждым его словом для меня открывалась все глубже и глубже безжалостная и горестная пропасть. Я испытывал тот последний ужас, который называется разочарованием.

Как только Леонтьев начал объяснять поведение Варташевского, я уже знал, в чем дело, и предвидел конец. Сейчас я переживал такое чувство, будто приехал издалека на похороны любимого человека, стою у его гроба и с трепетом и съезжившимся сердцем смотрю, как отдернут покрывало и я увижу дорогую мертвую голову.

Все было ясно. Я мог не дослушивать.

Леонтьев продолжал:

— Варташевского и не пытали. Даже чекистам было понятно, что Данилов действовал самостоятельно. Если б Варташевский был соучастником, он мог бы скрыться тем же самым способом: улететь на аэроплане. Да, вероятно, и улетел бы, но... куда ж подниматься к небу, если не пускает земля. А его уже тогда своими цепкими руками захватила эта проклятая Мария Диаман. Уж лучше бы он улетел, чем... Ну, что толковать: человек сдался. Ясно, как $2 \times 2 = 4$. В том-то и опасность нашего дела, что мы все время стоим на этой дьявольской грани, качаясь то в ту, то в другую сторону, работая на две лавочки. Это не всегда проходит даром...

— Что же делать? — спросил я тихо.

— Подождите! Вы еще не все знаете... Слыхали вы о гибели английского капитана Фрони? Ну, того изумительно-го Фрони, которого убили чекисты, ворвавшись в английское посольство?

— Мельком слышал.

— Подлейшая история! Вот был человек... Другого такого не найти!

Я вяло сказал:

— Может быть, расскажете?

— Долго... да и какие тут рассказы! Все мы долго не могли понять, как его поймали. А теперь уже не может быть никаких сомнений.

Я нетерпеливо вскрикнул:

— В чем дело ?

И тотчас же почувствовал, что задаю совсем ненужный вопрос.

Не рассудком, не сердцем, а всей кожей моего тела, волосами, концами моих ногтей я в эту минуту остро понимал, что случилось с несчастным и замечательным английским капитаном Фрони, с этим героическим борцом, искренним ненавистником красных советов.

— А дело в том, что и он явно был предан тем же Варташевским. Двух мнений не может быть.

Как странно! Какая непонятная сила заключается иногда в слове! Ведь вот, я сам в эти минуты уже знал это новое чудовищное преступление моего близкого когда-то друга, а теперь самого злостного и презренного врага. Знал! Но Леонтьев произнес вслух два слова:

— Варташевский — предатель!

И внутри у меня все сразу заглохло и оборвалось. Хотелось стонать, кричать, кататься по земле, стать на четвереньки, зарычать и завывать. Это желание я ощущал жадно и остро, и его я помню до сих пор с совершенной отчетливостью: да, стать на четвереньки, грызть землю и выть.

И в последней беспомощности, сразу ослабевший, ощущая только железное напряжение мышц, сквозь стиснутые зубы я задал тот же самый ненужный вопрос:

— Что же делать?

Леонтьев взял меня под руку, встал со скамьи, будто приподняв меня. Мы прошли несколько шагов. Крепко сжав мой локоть, он вымолвил равнодушно, ничего не выражающим голосом

— Прикончить!

Еще раз мы обошли маленький, круглый Пушкинский скверик. Красное здание «Пале-Рояля» медленно проплыло перед моими невидящими глазами. Когда-то я жил здесь.

Сюда однажды пришла ко мне Мария Диаман. Зачем она это сделала? До сих пор для меня это было загадкой — этот вечер с вином, эти часы ласк, эти неповторимые слова признаний, потому что слова любви никогда не повторяются, потому что для меня этот сон не повторился и теперь уже не повторится никогда.

Все обнажилось грубо, пошло, подло: она просто взвешивала и соображала — кто из нас двух полезней, я или он, Михаил Зверев или Константин Варташевский? Вот и все... Ах! Ах!

Мы простились с Леонтьевым.

Уходя, он сказал:

— Только не откладывайте! Что решено — должно быть сделано скорей.

И в эту минуту я вспомнил обращение Христа к Иуде:

— Что делаешь, делай скорей.

Но я и сам сознавал, что медлить нельзя. Кошмар давил. То, что я едва смел предполагать, оказалось самой ужасной, раскрывшейся и неоспоримой правдой... Наводил на след, указывал, заманивал, предавал, шепчась за нашей спиной, человек, которому я так беспредельно верил, кого я любил больше, чем брата, уважал глубже, чем отца, на кого в своей наивной вере я готов был молиться !

Этого храброго, твердого, азартного, двадцатитрехлетнего Варташевского я носил в своем сердце, как образец самоотвержения, как пример подражания. На войне, по первому его слову, я готов был пойти на смерть. И нас, действительно, спаяла не только дружба, но и кровь...

Потом между нами стала эта женщина. Теперь встал ужас.

Я шел, и теперь я знал, куда иду и зачем. Сразу пропал страх быть узнанным. Я не чувствовал никакой боязни. Если б за мной гналась вся чека, то я не ускорил бы шага. Мысль работала в одном направлении. Душа ныла, но сердце толкало вперед:

— Скорей! Скорей!

Я шел, как в железном сне. Все было напряжено во мне: мускулы рук и ног, нервы, ясность распаленного рассудка.

В эту минуту во мне горели холод и огонь.

Только бы застать Кирилла! В этом все...

— Вы спрашиваете, кто такой Кирилл? А Кирилл — это член нашей организации, уланский ротмистр. Отличный наездник. Когда-то владелец единственной конюшни. У нас он был «подающим». Кирилл выезжал лихачом и, когда он был экстренно нужен, ему говорилось только одно слово: «*Подать!*»

— Ах, если б его застать!

Я вошел трамвай, доехал до Каменноостровского. Кирилл был дома. Не вдаваясь ни в какие подробности, я рассказал ему в двух словах о нашей задаче.

Кирилл даже не удивился.

Он сидел пред зеркалом и брился. Красное, крепкое, мускулистое лицо лентами освобождалось от белой мыльной пены. Тщательно и спокойно ведя бритву вверх по левой щеке, подперев ее изнутри языком, он сказал:

— Как будто и мне это казалось... Только я думать об этом не смел.

Потом спросил:

— Куда *подать*?

— Да хоть сюда.

— В котором часу?

— Вечером. В 11.

Мне никуда не хотелось идти. Какой страшный день!.. Это бегство, эти поднимающиеся потолки, скользкие крыши; вся эта эквилибристика, фокусничество, какой-то безумный авантюризм... Это было похоже на американскую фильму. Потом потрясающий разговор с Леонтьевым.

Как трудно! Как больно! Как холодно и страшно!

— Я останусь у тебя, — сказал я Кириллу. — Мне некуда идти...

— Ну что ж, пожалуйста. Отдохни! Захочешь поесть, возьми из этого шкапа. Только вот что: раз уж ты пришел, не выходи! А впрочем, я тебя запру, а ты сиди и жди меня.

Я остался один.

Только измученные люди понимают эту радость остаться в четырех стенах наедине с самим собой. Я прилег. Сна

не было.

Я встал и прошелся по комнате. Горела голова. Пляшущие, треплющиеся нервы заходили, опережая шаг, будто я не шел, а бежал, скакал, мчался, летел.

Через минуту я поймал себя на том, что говорю вслух. И я, действительно, говорил.

Да, убить Варташевского для меня все еще казалось величайшим преступлением. Этот момент его убийства я не мог себе представить. Казалось, в последний момент у меня опустятся руки...

...Вот я уже занес револьвер, но он взглянул на меня своим ясным, теплым, таким знакомым взглядом... Решусь ли я?

Я подходил к графину, наливал воду и снова вышагивал комнату по диагонали, от угла к углу. Наконец, изнемог.

Сжав голову обеими руками, я бросился на кровать:

— Надо забыться! Попробую уснуть!

В 11 часов вернулся Кирилл.

— Лошадь подана, — сказал он, вваливаясь в комнату в толстом, тяжелом и щегольском армяке лихача.

Он поправился на козлах, подвернул под себя полу, застегнул фартук, разобрал вожжи, напряжился и подался вперед. Рысак рванул.

Маленькая пролетка-одиночка мягко катилась, чуть-чуть вздрагивая и подпрыгивая на неровностях камней. Мы оба молчали. Мыслей не было. Ничего не было! Я ехал, как пустой, и минутами мне казалось, что я не еду, а меня куда-то везут.

Темная, немая ночь, темное, немое небо легли на Петербург. Вдруг исчез камень. Мы катились по немоощенным улицам.

— Подъезжаем, — бросил, повернув голову, Кирилл.

По обеим сторонам тихо спали небольшие деревянные дома. Это была Новая Деревня.

Здесь жил Варташевский.

ХІІІ

Казнь

На мягком грунте рысак пошел шагом. Покачивалась пролетка. Я смотрел на толстый кучерской зад Кирилла, обводил глазами уснувшую деревню и ни о чем не думал. Не хотелось думать.

Кирилл спросил:

— Подать к самому дому?

Машинально и нехотя я ответил:

— Подавай!

Я шел на убийство. Такие акты обдумываются заранее. Мало ли что может случиться!

...Ну, прежде всего: Варташевский сейчас один или не один? Если в квартире никого больше нет, его можно уложить тут же, сразу, без разговоров, без объяснений, без кощунства добрых и заманивающих слов, без змеиных поцелуев.

Но если там еще кто-нибудь, — тогда?..

Я ничего не предпринимал.

Вероятно, во всем мире с самого дня его возникновения не было более пассивного убийцы, чем я. Без мысли, без плана, без всяких предосторожностей, как дикарь с камнем, я шел на этот страшный акт мести и искупления. Но я даже не волновался.

Удивительно!

Даже профессиональные убийцы испытывают колебание, трепет, боязнь. У меня не было ничего.

Как молнии, как вспышки, как невесомые воздушные птицы, пролетали то далекие, то близкие воспоминания, сплывались, пропадали и возникали вновь.

Вставали видения:

— Вот, в этой Новой Деревне я когда-то весело кутил. Пели цыгане, журчала гитара, пенилось вино, на счастье табора мы бросали золотые монеты в бокалы шампанского, черноокая Паша с полными красными губами затягивала

песню привет: «Как цветок душистый...» И, наклонясь к моему уху, звенело ласковым призывом, убаюкивающей радостью и разгулом: «Выпьем мы за Мишу, Мишу дорогого...»

Милая Паша! Если бы ты видела меня в эту минуту...

Тогда она гадала «Мише» Звереву на картах и по руке, — что предсказала бы она сейчас ночному убийце Владимиру Брыкину, идущему на новый ужас, окруженному теньями, опасностями, тайной и кровью?

Кирилл подался назад, натянул вожжи. Конь остановился.

Я вылез.

За оградой, в палисаднике стоял деревянный домик. В двух последних окнах светился огонь: горела керосиновая лампа.

Кирилл лениво сказал:

— Буду ждать здесь. Там на пролетке не проедешь...

Я открыл калитку.

На одну короткую секунду меня объяло уныние. Уныло и безропотно торчали тощие, короткие деревья палисадника, уныл был трехступенчатый вход, уныло и криво свесилась проволока звонка.

— Ну, готовься же! — говорил мне кто-то вельительный и строгий.

— С чего ты начнешь? — спрашивал неумолимый голос, и в нем говорила решимость и воля, последняя воля усталого палача.

И ему отвечали не сознание, не рассудок, не обдуманность, а что-то другое... Что? Может быть, сердце? Нет! Это, отмахиваясь и заслоняясь от грозных призраков кровавой неизбежности и терзаний духа, откликалась моя сонная, изнасилованная совесть.

— Надо только войти! Так просто! Поздоровуюсь... Почему не поздороваться? Это так естественно. Потом все произойдет само собой.

— Иди же! — подталкивал я сам себя.

— Ну, вот, одна ступенька... другая... третья...

Надо было браться за ручку звонка.

И вдруг я сразу встряхнул себя. Так когда-то я вытягивался на смотрах.

Внутренне я командовал себе:

— Смирно! подтянись! Возьми себя в руки!.. Так! Правильно!.. Теперь дерни звонок!

За обгрызенную, жалкую деревянную рукоятку я дернул сильным движением правой руки и почти тотчас же стукнул в дверь согнутым указательным пальцем — раз и другой.

Затаил дыхание и ждал.

— Кто там?

Голос Варташевского.

— Это я.

Произношу эти два таких простых, таких коротких слова, но сам слышу, что хриплю. Осекается мой голос, мое сердце нервно и трепетно бьется, мне кажется, что я готов упасть, так слабы и неверны мои ноги.

— Смирно!

Я напрягаю мускулы, я чувствую, какими выпуклыми сразу становятся мои икры.

— Кто?

— Зверев.

Из-за двери — приветливый возглас:

— Ах, это ты, Миша?

Ах, почему он сказал «Миша»? Зачем эти теплые ноты? Почему не «Зверев»?

— Я.

— Эх, когда тебя занесло... Сейчас отопру.

Легкие, быстрые шаги удаляются. Он пошел за ключом.

В темной ночи у двери человека стоит его убийца. Убийца — это я. Моя жертва сейчас мне отворит эту дверь. Варташевский доверчиво впустит меня к себе... Он ничего не ждет. Он ничего не предчувствует.

— Ну что ж!

В голове мелькает:

— Можно обманывать некоторых все время. Можно обманывать некоторое время всех. Но все время обманывать всех нельзя!

Это меня ободряет моя память. Когда убиваешь, надо оправдываться!

Секунды кажутся вечностью.

Наконец: те же быстрые шаги, два быстрых, энергичных поворота ключа, дверь — настежь.

— Миша, почему так поздно?

Он протягивает мне руку, тянет к себе, целует. Немыми концами замороженных губ я прикасаюсь к его горячему рту.

— Раньше нельзя было.

Обняв, он ведет меня в комнату. На ходу чиркает спичкой.

— Осторожнее, — говорит он. — Здесь порог.

Как смешно! Меня он должен беречь!

В комнате горит лампа. Пахнет керосином. На столе — развернутая книга. Я быстро бросаю взгляд: Шиллер — «Разбойники». Уж не я ли Моор?

— Ну и исхудал же ты, — говорить Константин, пристально вглядываясь в мое лицо.

Он берет лампу, поднимает, освещает меня:

— Да, брат, подгулял...

Мы садимся.

— Говори скорей, в чем дело, — просит Константин, стыдливо опуская глаза, и тихо прибавляет:

— Я — не один.

Конечно, он — не один!.. Она — тут! Тотчас же я улавливаю легкий запах духов и еле слышный шорох за стеной.

Она слушает. И твердо я говорю себе в эту минуту:

— Ничего не услышишь! Нет, *mademoiselle* Диаман, вы ничего не подслушаете!

— Так в чем же дело?

Я отвожу глаза.

— Да как тебе сказать... Во всяком случае, дело серьезное. Вопрос идет о судьбе организации...

Он незаметно поднимает внимательно глаза, смотрит на меня настороженно, в его взгляде пробуждается любопытство.

Еще бы оно не проснулось у тебя — у тебя, предателя!

Волна тихой злобы охватывает сердце. Я боюсь выдать себя. Покорно ли мое лицо? Верно ли оно передает мою предательскую игру?

— Разве так серьезно? — спрашивает Варташевский.

— Очень.

— Ну?..

— Здесь неудобно говорить. Да и душно у тебя. Я устал. Хочу воздуха. Пройдемся...

Варташевский потягивается и зевает:

— А может быть, лучше завтра?

— Завтра я уезжаю.

Мы выходим.

— Ах, Кирилл!..

Варташевский протягивает руку нашему «подающему».

— Здравствуй, Кирилл!

Кирилл — хороший лихач, но плохой актер, и в его ответе не слышится «здравствуй», а «здравствуйте». Ох уж эта мне кирилловская искренность! В этот момент какой это ненужный багаж!

— Кирилл, может быть, немного провезешь?

Почти шагом мы доезжаем до Елагина острова. Выходим. Константин берет меня под руку:

— Рассказывай!

И я начинаю говорить.

Я плету ему всякий вздор, я сообщаю ему какие-то ничтожные мелочи, я ни разу не решаюсь выговорить слово «предатель».

Мы удаляемся вглубь елагинского парка. Мертвенно, тихо, темно...

Константин говорить:

— Ты просто подозрителен!

И этим сразу разрубает узел. Я загораюсь. Нервы отказываются мне служить. Я чувствую, что уходят последние силы. Высвободив руку из-под его руки, будто разомкнув последнюю связь, я бросаю ему в лицо:

— У нас есть предатель, и он состоит в нашем центре.

И вдруг из его горла вырывается позорный, подлый и

(я слышу) трусливый вопрос:

— Кто?

Да, трусливый. Это «кто» он произнес, словно поперхнувшись, и выходит:

— Кях-то?

И это «ках-то» было похоже на звук, который издают подавившиеся кошки.

Тогда я придерживаю его, потом вдруг отстраняю, становлюсь пред ним, как внезапно выросший враг, и ударяю, как пощечиной, последней и страшной правдой:

— Ты!

Он откидывается назад, поднимает левую руку: так за-слоняются от удара!

Но я доканчиваю:

— Да, ты! Ты — предатель! И ты — осужден!

Он молчит.

Тень предателя на снегу предательски обнаруживает дрожь в его коленях.

И это — Варташевский, это — наш храбрый, наш безукоризненный и светлый Константин! Он дрожит!

— Маски сорваны! — повелительно кричу я. — Ты должен умереть!

Варташевский делает два шага назад, останавливается, скрещивает руки.

Я слышу нежданное, потрясающее, ужасное признание.

Константин медленно выговаривает:

— *Стреляй!*

Я крепко сжимаю рукоятку среднего маузера, я слышу, как тяжело и часто дышу. Мне больно, пустынно и тоскливо.

О, если бы он оправдывался! Но он доканчивает:

— Я заслужил этот конец.

Глухим, раздавленным голосом он произносит последнюю фразу:

— Передай моим товарищам, что я не так виноват, как они думают. Стреляй!

Никогда, никак, ни на словах», ни на бумаге, даже самому себе я не в силах рассказать, что я почувствовал, что я пережил в тот момент, когда он упал на снег.

Один за другим, два выстрела до сих пор звучат в моих ушах, и ясно, но и смутно я вижу сейчас эту темную ночь, темное небо, глухой парк, следы двух людей, шедших сюда.

Мне кажется еще, что я вижу собственную тень удаляющегося убийцы.

XIV

Игра

Не глядя, не разбираясь, ступая, как попало, без дороги, я торопливо шел от места убийства, будто убегая от этого ужаса в желании скрыть следы моего мучительного преступления.

— Ну что ж? — спросил Кирилл. — Окончено?

Я кивнул головой.

— Да.

— Теперь куда ?

— Поезжай прямо!

Рысак понес. Так мы летели несколько минут. Кирилл сдержал коня, перевел на шаг, бросил вожжи, обернулся.

— Ну что, Константин струсил?

— Признался.

Я рассказал Кириллу, как произошло убийство. И неясная, скомканная, затемненная картина понемногу стала светлеть в моем рассказе и моей памяти. Еще всего четверть часа тому назад эти вопросы, быстрые ответы, шаги, выстрелы, падение тела сливались в одно. Но уже сейчас я разобрался во всем.

Отчетливо всплыло последнее завещание Варташевского. Он сказал:

— Передай Мари, что я ее люблю... Да, еще: у нее сейчас нет денег. Помогите ей...

Я приказал Кириллу:

— Поезжай в Новую Деревню.

— Куда-аа?

Я повторил.

— Вот я еду к ней, — говорил я сам себе. — Как все странно! Что я ей скажу? Что я с ней сделаю? Да, сделаю!.. Мария Диаман не должна жить!

Мысль работала быстро, логично и неумолимо.

В эту минуту я анализировал свое положение, роль Марии Диаман, судьбу Варташевского с холодным спокойствием, с бесстрашием все потерявшего человека, с жестокостью палача, для которого количество жертв уже не имеет значения.

— Кто для меня в эту минуту Мария Диаман? — спрашивал я себя. И отвечал:

— Твоя гибель!

Я вслушивался в этот немой ответ и чувствовал всю его правду, гнев и точность.

— Да, она — твоя гибель... Она еще не привела тебя к краю могилы. Но ничтожная оплошность, малейшая податливость, легкая слабость или уступка — и эта женщина тебя сбросит в пропасть.

В то же время, сердце мужчины рвалось вперед. Зачем? Я этого не понимал.

— Для мести?

Может быть. Но также из предосторожности. Сейчас это была единственная свидетельница, знавшая, что темной ночью я увел куда-то Варташевского и после этого он не возвращался.

— Но она не только опасна, она еще и подла. Прощенья нет для предательниц! Пощады нет для изменницы! А Мария Диаман изменила мне, она обманывала Варташевского, она предала организацию.

Я позвонил. Ответа не было. Я снова дернул, и чудесный, мягкий голос спросил:

— Это ты, Константин?

— Это — я.

— Кто?

— Михаил Иванович.

— О Боже мой! С Константином случилось что-нибудь?

Отсюда мне вспоминается, как будто бы я слишком долго тянул ответ. Должно быть, поэтому в ее глазах мелькнула тревога. С дрожью в голосе она тихо сказала:

— Вы скрываете что-то? Произошло несчастье?

После секундного молчания:

— Почему мне так страшно с вами?..

Она растерянно оглянулась кругом, и свеча задрожала в ее маленькой руке. В эту минуту она как будто искала выхода, словно я ее завлек и захлопнул в какую-то страшную и тесную ловушку.

Я ясно ощущаю, чувствую, слышу внутреннюю борьбу, происходящую в моем сердце, во всем моем существе. Должно быть, я был похож на сумасшедшего. Путаница мыслей, странность решений, готовность на все и горестное бессилие охватили меня.

В темно-зеленом капоте, с колеблющейся свечой в руке, как потерянная, как приговоренная, она шла по черному коридору в ту самую комнату, где несколько часов тому назад сидел Варташевский.

Мария Диаман поставила свечу на стол и, смотря на меня, ловя ответ в моих глазах, еще раз спросила:

— Что случилось? Я знаю, что-то случилось... Что? Что? — повышала она молящий голос.

Но слова застревали в моем горле. Я не в силах был выговорить страшную правду. Мне не было жаль ни его, ни ее. Я был как в полусне и только понимал одно — то, что больше нельзя медлить и невозможно молчать. Но как поступить, не знал.

Вдруг она вскочила. Ее глаза расширились. В каком-то внезапном презрении она громко закричала:

— Вы убили его. Да! Да! Да!

И бросила мне в лицо бешеное, бьющее, оскорбительное слово:

— Мерзавец!

И ко мне тотчас же вернулись мои силы. Поднявшаяся злоба мгновенно затуманила мозг, сдавила горло, залила

огнем мое лицо, и, легко схватив эту обезумевшую, кричавшую женщину, я швырнул ее на пол.

Она упала в ужасе. В остановившемся взгляде я прочел последний испуг. Загораживая выход, вплотную приблизившись к ней, я выхватил мой маузер и направил на нее. Но тотчас же она вскочила и цепко повисла у меня на руке:

— Не смеешь! — кричала она, очевидно, даже не понимая смысла своих слов и только защищаясь от меня, как от ужаса, как от бледного призрака неминуемой смерти.

— Не смеешь! Не имеешь права!

Голос прерывался, тяжело поднималась ее грудь, слова звучали решимостью, требовательностью и отчаянием. И вдруг, будто обессиленная, она тихо и слабо замолчала, молитвенно сложила руки на груди и просяще зашептала:

— Пощади! Не убивай меня! Вспомни, что я была твоей!

И это напоминание меня обезоружило.

Только теперь я понял, как горячо, страстно, жадно она хотела жить, как любила эту жизнь, ее сладкие, обманчивые утехы, ее тающие радости и свою молодость.

И уже не злоба и не мстительность наполнили мою душу, а смешанное чувство жалости и презрения к этой погибающей женщине бросило в это красивое лицо измятую пачку бумажек, мои последние финские тысячи, и они упали мягко и беззвучно.

Я вышел.

— Ступай!

Кирилл спросил:

— Что ты там делал?

— Ничего.

— Ну да, так я и поверил.

— Замолчи, Кирилл!

— Куда теперь?

— Куда хочешь...

— А может быть, сыграем?

Какая удачная мысль! Только бы не остаться одному!

Хотелось азарта, шума, людей. Уйти! Забыться!

— Вези!

Рысак рванул, мы мчались, летели мысли.

Я рассуждал с самим собой:

— Конечно, Мария Диаман донесет. Все ясно и неопровержимо. Труп Варташевского будет найден завтра. Может быть, уже через два, три часа, на рассвете. Убийцу не надо будет искать. Его имя известно... Не все ли равно?

Точно угадав, о чем я думаю, Кирилл медленно произнес:

— Напрасно не убил... Продаст баба.

— Пусть!

— Глупо! Не погибать же из-за этих двух негодяев... Потом пожалеешь, да поздно...

Он задержал рысака и остановился.

— Вылезай!.. Приехали.

Мы стояли у подъезда ресторана «Эрнест». Каменно-островский был пуст. Дом был темен. Только в двух окнах верхнего этажа слабо и бледно мерцал свет, затененный и завешанный тяжелыми, почти непроницаемыми драпри.

— Я подожду, — сказал Кирилл, слезая с козел. И прибавил с веселой удалью:

— Наше дело маленькое. Это вам, господам, играть. Нам, кучерам, зябнуть. Но если выиграешь, вышли бутылочку вина...

Я поднялся по лестнице по темно-малиновому ковру. Слышны были возбужденные голоса.

Кто-то крикнул:

— В банке — 47.000.

Несмотря на то, что в эту минуту я был без денег, что я хорошо это знал, какая-то невидимая, взмывающая сила безумного азарта выкрикнула во мне на весь зал:

— Banco! Крыто!

С руками, глубоко заложенными в карманы, весь — напряжение, весь — ожидание и почему-то весь — уверенность в выигрыше и победе, неподвижный, я смотрел, как крупье аккуратно, быстро и легко разбрасывал карты.

Банкомет открыл свои. У него были шестерка и двойка.

Он торжествующе, твердо и громко выговорил:

— Восемь!

Я повернул свои. Предо мной лежала дама трэф и около нее девятка.

Небрежным движением руки я бросил обе карты на середину стола:

— Девять!

XV.

Гибель Феофилакта

Среди примолкших голосов в наступившей тишине я стоял у стола, как торжествующий победитель. Банк был сорван.

Кто-то ахнул :

— Редкий случай: бита восьмерка! Да, это — судьба...

Чьи-то глаза исподлобья взглянули на меня пристально и колюче. Что старались они разгадать?

Вероятно, я был очень бледен, и незримо передавались окружающим мое злое напряжение, дерзость и безрассудство. Человек, только что убивший другого, без денег, без расчета захватил банк!

Чем-то длинным, похожим на нож для разрезания бумаги, крупье вежливо придвинул мне деньги и, не считая, я сунул в карман толстую скомканную пачку.

Игра продолжалась.

Был заложен новый банк, зашуршали бумажки. Отрывисто, вполголоса назначались ставки. Они были огромны.

Я выкрикнул во второй раз:

— Banco!

Напряжением больного мозга, сумасшедшей сосредоточенностью желания, последней натянутостью нервов, тайным и острым презрением я знал и чувствовал, что выигрыш опять будет моим.

Раздали карты. С минуту банкомет колебался: прикупить или нет? Наконец, он объявил:

— Своя!

Я поднял мои карты и повторил то же самое, автоматически, не понимая, не взвешивая, ни о чем не думая:

— Своя!

Ко мне пришли пятерка и двойка.

Банкомет открыл:

— Шесть.

Я кинул карты на стол:

— Семь!

Крупье сочувственно и любезно улыбнулся. Остальные взглянули на меня с удивлением, подозрительностью, завистью и той покорностью, какая бывает только в азартных играх у несчастливых и скрывает под своей личиной волнение, безнадежность, но и преступную решимость на все.

Я вспомнил:

— Ах, да! Надо ведь послать Кириллу вина.

И тихо спросил соседа:

— Можно достать шампанского?

Подмигивая, скосив глаз, оттопыренным большим пальцем левой руки он показал мне на высокого брюнета:

— У него...

Перепрыгивая через три ступеньки, неся в каждой руке по бутылке, я сбежал вниз.

Кирилл сидел, развалясь в пролетке, и беззаботно курил.

— Молодец, барин, — обрадованно сказал он наигранным голосом профессионального лихача. — Значит, можно поздравить с пульфером?

Не отрываясь, прямо из горла, я залпом выпил свою бутылку, отшвырнул ее прочь, и с легким звоном она покатилась, стремительно описывая круг на снегу.

Сразу стало покойно. Тишина сошла на мою душу. Во всем теле я почувствовал нежданную легкость и чуть-чуть радостную, светлую бодрость, будто ничего не было, ничего не произошло — ни ужасов, ни убийства, ни этой сцены у Марии Диаман, ни азартных ставок.

— Сколько ты выиграл? — спросил Кирилл.

— Много... Больше ста тысяч.

— Эге... Повезло! Пора и сматываться.

И в самом деле, я должен был отдохнуть.

Только теперь, здесь, на воздухе, после выпитого шампанского, пережив глубочайшие, оглушающие потрясения, я почувствовал, как изнемогло мое тело, истерзалась душа, устало сердце. Машинально, без желаний, без сопротивления я готов был идти за всяким, всюду, выполнять всякое поручение, подчиниться чужой воле любого человека.

Я сказал:

— Сматываться, так сматываться. Едем... Может быть, к тебе?

— Хочешь поспать?

— Можно и поспать.

— Да, тебе это необходимо... Только — ох, — как я не люблю вашего брата, ночлежников... Того и гляди... Но ничего не поделаешь...

Я вошел в комнату Кирилла, он отправился распрягать и сбросить армяк. Я задремал.

Путанные, злые, стучающиеся и дергающие мозг проносились в обессиленной, тяжелой голове сны за снами — короткие и страшные. Проплывали пропасти... Рухнул потолок... Меня, бегущего по полю, смеясь, настигал Варташевский... Я вбежал в дом, замкнул дверь, залез под одеяло. Спасения не было! Варташевский вбежал и сюда.

— Ах!..

Я вскочил.

— Ты с ума сошел? — говорил удивленный голос Кирилла. — С чего это тебя бросает ?.. Ложись... Ну и нервы же у тебя! Смотри, как бы не попасть на 11-ую версту!*

Болела голова, — не вся, нет! — винтаще ныл левый угол лба, и мучительно дергался глаз. Я подошел к зеркалу, зажег свечу. Боже мой, на что я стал похож!

Красные, будто налитые кровью белки вокруг выцветших, водянистых, как у мертвеца, зрачков, впавшие небри-

* «На одиннадцатую версту» в петербургском просторечии значило: в сумасшедший дом (Прим. авт.).

тые щеки, глубокие синие ямы под глазами: самому себе я казался неживым!

Теперь все было понятно — и этот испуг Марии Диаман и тревожные взгляды игроков у «Эрнеста». Я не узнал себя.

— Ложись... Спи наконец! — приказал Кирилл.

— Боюсь проспать...

— А куда тебе спешить?

— Нужно позвонить Леонтьеву.

— Когда разбудить?

— В 11.

— Ладно!

Я лег. Сон не шел. Я встал, холодной водой намочил полотенце и, обвязав голову, бросился в постель. С этой белой повязкой я, вероятно, был еще страшнее.

Борясь с нервной бессонницей, я стал считать до ста. Забвения не было. Стало светать. Тонким, звонким боем золотые часы Кирилла торопливо пробили «5». Потом все потухло, исчезло и умерло.

...Утром я звонил в штаб к Леонтьеву»

— Говорит Брыкин... Поручение выполнено.

— Все кончено?

— Все.

— Ликвидированы оба?

— Нет, один. Варташевский.

— А она?

Мой голос дрогнул:

— Нет!

— Большая ошибка!..

— Виноват.

Несколько секунд телефон молчит.

Затем:

— Надо увидеться.

— Где ?

— В Тучковом переулке... Выхожу сейчас.

Быстро, на ходу пожав мне руку, Леонтьев широкими шагами шел рядом со мной по маленькому, короткому переулку и бросал вопрос за вопросом.

— Где?

— На Елагином.

— Когда?

— Около 12 ночи.

— Погиб малодушно? Отпирался?

— Сознался.

— Вот видите, как все мы были правы. Почему вы не кончили с ней ?

Вопрос прожег меня, уколол, прозвучал укором в сдаче, трусости, в позорном бессилии мужчины. Стараясь придать голосу твердость, я тихо ответил:

— Убить ее я не мог.

Он косо посмотрел на меня и произнес отдельно :

— Прес-туп-но! Не-про-сти-тельно!

Немного подумал и, как-то безнадежно махнув рукой, замедлил шаг.

— А впрочем... Это страшно, в сущности, только для вас одного. Вы сами скоро увидите, какую ловушку приготовили для себя.

— Возможно. Лишь бы не пострадала организация!

Низким, шипящим, укоряющим голосом, в котором слышались презрение и гнев, Леонтьев сказал:

— Что жалеть о погибшем. Организации — нет!

И эти два ужасных слова щелкнули по моему слуху, как плеть, и оглушили. Я вскрикнул:

— Как? Нашей организации нет? Что вы болтаете?

Подчеркивая каждое слово, он повторил:

— Нет, я не болтаю. И никогда не болтал. Но организации — нет. Она погублена. Все потеряно. Ее съел Варташевский и эта... его опереточная дрянь.

Я вздрогнул. Внутренний голос бросил мне:

— И твоя!

Зачем я ее не убил?

Леонтьев рассказывал:

— Разбиты центры. Выбиты лучшие люди. Нет Фрони. Нет Феофилакта...

— Что с Феофилактом?

— Убит.

— О, Боже мой! Но кто же мешал ему спастись из его квартиры вместе со мной? Разве мы не могли вдвоем уйти через эти поднимающиеся потолки? Разве я не говорил ему, что могу решиться на бегство только с ним? В чем дело? Почему он не скрылся?

— Вы его мало знали. Феофилакт, конечно, был прекрасным организатором. Но это был прежде всего личный мститель. Он искал кровавых встреч. И ведь вот, подите ж. Из каких схваток этот человек выходил живым! Да и тут он вел себя, действительно, героически: по этим чекистам он из двух револьверов выпустил несколько десятков пуль, уложил пятерых. Шестой уложил его. Феофилакт заставил их ломать двери. Потом, с двумя револьверами в руках, загорюродившись столом, держал им речь — выигрывал время... И, наконец, открыл стрельбу. Об этом Лучков рассказывал со всеми подробностями.

— Какой Лучков?

— Вы не знаете... Лучков поставлен организацией на службу в чека.

Леонтьев усмехнулся:

— Когда и вас судьба приведет туда, познакомитесь.

Какой ужас! Бедный Феофилакт! Я пошел рядом с Леонтьевым по Тучковой набережной и горестно испытывал такое чувство, будто потерял все на свете, сотрясается моя земля, я покинут всеми, и в эту минуту моя единственная опора и надежда — только он, этот человек в желтой коже, шагающий со мной по пустынному, серому тротуару.

Я напомнил Леонтьеву о моем задании.

— Нет, вам не надо ехать в Финляндию... Теперь это излишне и рискованно. Ведь главной связью был Феофилакт. Теперь кончено. Повторяю вам: организации нет...

— Что же будет? Ведь нужно что-то делать...

— Да, нужно.

— Что?

— Создавать новую.

— Как?

— Бесстрашно, жестоко, не щадя ничего и никого.

Леонтьев задумался:

— Вот что... Завтра в 2 часа дня вы явитесь в гостиницу гвардейского экономического общества. Я вас встречу. Там состоится совещание.

— Слушаюсь!

Прощаясь, он закончил:

— Итак, до завтра. Хм... Так Варташевский нашел свой конец!.. Вот тут-то и вскроется тайна. Вы увидите, как его будут хоронить большевики!

— Да, будет интересно посмотреть на церемонию.

— Я там буду.

— И я.

Сжав мою руку, Леонтьев внушительно сказал:

— Вам не советую...

XVI

Тайна сестры

Все было ново, неожиданно и печально. Никогда еще я не чувствовал себя так сиротливо и одиноко, как сейчас. Мир опустел. Организации нет!

Леонтьев говорит, что можно создать новую, но я вижу, как он сам не верит в это. Да, все плохо...

Но строить нужно. Нельзя сидеть и молчать. Конечно, наше будущее мы будем строить на крови. Для меня это не страшно. Но я ощущаю другую опасность. Всем телом, сердцем, душой, мозгом я чувствую, как в этот мир входит новая мораль. Скоро все будет позволено.

— Стоит ли жить? — спрашивал я сам себя и твердо отвечал:

— Да!

Никогда еще я не был так глубоко убежден в своей силе, как в этот час серого зимнего дня.

Без раздумий, без слов, без вопросов я отдам мою жизнь по первому приказу. Но обидно и горько бросить ее без

пользы, попасть в чека и там погибнуть от грязной руки трусливого негодяя или истеричного кокаиниста.

А это может случиться. Мария Диаман не простит и не забудет. То, что я сейчас на свободе, — простая случайность. Пока меня спасает только неизвестность. Мария Диаман не знает, где я живу.

А в самом деле, где я живу? Да, стал бродягой, и у меня нет ни крова, ни пристанища, ни родных.

А Женя ?

Я вспомнил о сестре.

Может быть, мы с ней больше никогда не увидимся. Разве я могу ручаться даже за следующий час? Каждая минута мне грозит арестом и расстрелом.

Завтра — совещание. Новая организация меня может послать куда-нибудь в провинцию. Все стало неожиданным! Надо спешить! Я решил пойти к сестре.

Она не удивилась. Ее обрадованные глаза были спокойны. Мы встретились так, как будто условились об этом и ждали друг друга. Но уже первые слова Жени были тревожны. Глядя меня по голове, она говорила:

— Ах, Миша, если бы ты знал, как я беспокоилась за тебя!

— Это почему же?

— Разве для беспокойства нужны причины? Ах, милый, мы переживаем такое скверное время... Я боюсь...

— А ты не бойся.

— Мне все кажется, что с тобой должно случиться что-то неприятное... А меня никогда не обманывает предчувствие.

Бедная Женя! Дорогая моя сестра! Глупая, глупая девочка! Я пришел к ней, ища успокоения, отдыха, тепла, а Женя каркает мне, пророча темный и злой конец.

Как это странно! Чем женщина искренней, тем она беспощадней. Зачем Женя говорит мне о своих предчувствиях? Как будто я сам не вижу, что хожу по краю бездны и неизбежно скачусь, сорвусь и полечу вниз.

Но сейчас об этом не хотелось думать. В комнате Жени было уютно и тепло. Я обнял сестру. Вспомнилось детство.

Зимой мы играли в снежки, лепили снежную бабу. Хорошие были зимы!

Женя сказала:

— Ну, Расскажи, как ты живешь. Что делаешь?

— Работаю... понемногу...

— Ты служишь ?

Я ответил не сразу. Женя повторила свой вопрос. Что мог я ей сказать?

Она спросила:

— На что же ты живешь?

Я безмолвно вынул пачку и сунул ей в руку:

— Возьми !

Женя удивленно взглянула на меня. В ее голубых глазах мелькнул испуг.

— Откуда это?

В голосе звучала подозрительность. Это было понятно. Откуда у меня могли быть деньги? Кто и за что мне стал бы платить?

С полной и совершенной искренностью я мог бы рассказать Жене о моем сумасшедшем выигрыше. Мог и не смел. В моем сознании, в моей памяти этот выигрыш как-то неразрывно сливался с Новой Деревней, с ночной тишиной, с Елагинским парком. Этого нельзя было трогать!.. Об этом нельзя было вспоминать...

Удастся ли ?

Нет, это никогда не уйдет из памяти, никогда не заснет моя бедная совесть!

Я сказал сестре:

— Не спрашивай меня об этом...

Ее рука задрожала. Она выронила деньги. Испуганно, вполголоса она сказала:

— Миша, я боюсь тебя.

— Глупая!

С широко раскрытыми, насторожившимися глазами она быстро шептала:

— Миша, Миша, как страшно! Миша, я вижу, я чувствую, что-то случилось... Что ?

— Ничего не случилось.

— Ты скрываешь.

Я попробовал рассмеяться:

— Ты — трусиха и фантазерка.

Смех вышел неискренним. Женя вздрогнула, и вдруг из ее удивленных, испуганных, милых глаз ручьем потекли слезы.

Она крепко обняла меня, будто от кого-то защищая и пред кем-то оправдывая, положила мою голову к себе на грудь и ласково и настойчиво попросила :

— Не лги мне!

Что она думала? Что подсказывало ей сердце? В чем тайно она обвиняла меня?

— Слушай. Миша... Эти деньги грязные. Я не хочу к ним прикасаться. Я их сейчас брошу в печь.

— Ну что ж, бросай!

Я встаю, беру ее за плечи и, смотря ей прямо в глаза, говорю в упор:

— Даю тебе мое честное слово, что все эти деньги от первой до последней бумажки мною выиграны в клубе. Поняла?

Она бросается ко мне на шею, целует и все еще плачет. Успокаиваясь, чуть-чуть всхлипывая, укоряет :

— Зачем ты меня мучил? К чему эта таинственность?

Женя уходит. Сегодня она устроит дома роскошный обед. Я остаюсь один.

На столе у Жени — массивный альбом. Я открываю его, перелистываю. На одной из фотографий — я и Женя. Чрез несколько страниц я — в форме юнкера Николаевского кавалерийского училища. Как все шло прямо, ровно, легко! Теперь все перевернуто, все погибло. За несколько месяцев я состарился, измучился и ослабел.

— Что будет дальше ? — спрашивал я себя.

Мой прямой ответ был:

— Дальше будет трудней, сложнее и опасней.

— Отступить? Махнуть рукой? Стать в стороне?

— Нет! Нет! Нет! Только не это! Только не малодушие!

В эти минуты я завидовал Леонтьеву. Вот у кого не могло быть никаких колебаний. Его душа никогда не износит-

ся, как и его кожаная куртка. Я начинал испытывать презрение к себе.

Как я смею задавать себе какие-то вопросы? Никаких вопросов, никаких сомнений, никаких колебаний!

Женя вернулась взволнованная, в каком-то нервном экстазе, горящая негодованием.

Раскрасневшаяся от быстрой ходьбы, от гнева, она бросила покупки на диван и, не снимая шляпы, резко жестикулируя, заговорила раздраженно и зло:

— Ты слышал ? Варташевский убит.

Я поднялся с кресла, взглянул на Женю и — не знаю, почему — бросил пустое и глупое слово:

— Разве?

— Ну да. Об этом весь город говорит. И в газетах много написано... Вообрази: Константин убит! Я не могу себе представить этого! Ах, какое подлое время.

Женя закинула руки назад и нервно заходила по комнате:

— Что же это такое! Кому Константин мешал?

Я молчал. Что мог я ответить ей на эти детские, искренние и страшные вопросы!

Вдруг Женя остановилась и, несколько раз топнув, выкрикнула:

— Любопытно было бы знать, какой это мерзавец мог поднять руку на бедного Константина...

Я внимательно посмотрел на сестру.

— Женя, не смей говорить о том, чего ты не понимаешь!

— Я не понимаю? Почему?

— Варташевский — предатель.

— Вздор. Не может быть!

— Он — предатель.

— Ложь. Он честен, смел и добр. Милый, дорогой Константин!

Женя низко опустила голову, задумалась, и в тусклом и онемевшем выражении ее лица я увидел последнюю, тяжкую безнадежность.

В тот же миг я понял все.

Я подошел сзади, обнял сестру, повернул ее голову к себе и спросил строго и нежно:

— Женя, ты любила его ?

Она вскочила, вырвалась из моих рук и выбежала из комнаты. Я догнал ее на улице.

— Женя, я ухожу.

— Прости меня, я погорячилась.

Она берет меня под руку и тянет домой.

— Нет, я уйду.

— Я тебя обидела?

— Нет.

— В чем же дело?

Я целую ее в последний раз:

— Прощай!

XVII

Секретное совещание

Сиял солнечный зимний день. Золотые, розоватые полосы света ложились на снегу. В том году почти вся петербургская зима прошла без солнца, я все время над городом лежало тусклое, усталое серое небо.

Но этот день был хорош. Красота зимних переливов снега, прозрачных конусообразных ледяных сосулек, огневующих золотых крестов на церковных куполах наполняли душу бодростью и, казалось, обещали радость.

Я шел по Конюшенной. В приподнятом настроении я чувствовал, как в моем сердце тихо загораются смутные, но успокаивающие надежды.

Не было ни тревоги, ни изнеможения, ни головной боли. Только от времени до времени мучительно всплывали воспоминания о сестре, о вчерашнем дне, о ее горе.

— Сомнений нет. Она любила Варташевского. Черт знает что!

Все неразрешимо сплелось вокруг меня, связалось в сложный и тугой узел.

Я рассуждал:

— Рано или поздно Женя узнает имя убийцы. Не теперь, так потом. Такие акты политической мести не могут быть схороненными навсегда. Тайна, стоящая на страже крови, раскроется сама и заговорит.

Предо мной вставал вопрос:

— Открыться Жене, или пусть будет все так, как угодно случаю?

— А впрочем, — спрашивал я себя, — чем ты смущен? Разве Женя не поймет тебя? Ведь так все ясно! Конечно, я сам должен посвятить сестру в эту тайну. Она оправдает и простит.

Но тотчас же другой голос говорил мне:

— Она никогда не оправдает, не забудет и не простит.

С Конюшенной я свернул в переулок, стал всходить по лестнице гостиницы. На площадке стоял Леонтьев и протягивал мне руку:

— Очень рад, что вы пришли раньше. Пойдемте в номер.

Мы сели.

— Сейчас начнется совещание, — сказал Леонтьев. — Я придаю ему самое серьезное значение.

— Мы все должны в него верить.

— Да, если что-нибудь выйдет, то только отсюда.

— Большое собрание будет?

— Нет. Думаю, что человек 11.

— Мало...

— Для начала довольно. Сейчас громоздкие организации рискованы. Вы сами видите, что предательство — на каждом шагу. Большевики даже не скрывают своих агентов... Читали, какой шум они подняли по случаю смерти Варташевского?

— Да.

— И слова-то какие!.. «Наш герой»... «Пролетарский летчик»... «Изменнически пал от подлой руки предателя»...

Это мы-то с вами — предатели, а Варташевский с чекистами — люди чистой совести! Недурно?..

— Когда похороны?

— Завтра.

— Я пойду.

— Еще раз говорю вам: не делайте этого.

— Тянет.

— Понимаю... Знакомое чувство...

Мы перешли в другой номер. Он был гораздо больше первого. Собрались все. Действительно, в комнате было 11 человек.

Я сразу же обратил внимание на сухого бритого блондина. Он был красив. В его голубых глазах светился холод.

Это был известный Рейнгардт.

Он оглядел присутствующих и спокойным, металлическим голосом, отчеканивая слова, будто рапортуя, начал свой доклад.

— Я должен, господа, познакомить вас с общим положением дела. Не надо ничего прикрашивать! Мы разбиты. Один из самых замечательных наших работников погиб. Я говорю об английском капитане Фрони. Это — огромная потеря! Связи разрушены. Но, главное, у нас нет денег, а без них организация не может существовать. Словом, печально. Вопрос прост и категоричен: или мы должны бросить начатое дело и разойтись в разные стороны, каждый своей дорогой, или создать теперь же новую организацию.

Слова Рейнгардта звучали, как похоронный мотив, как неумолимый приговор судьбы, как укор и вызов. Омрачились лица, задвигались люди, у всех участников почувствовалась нервная напряженность.

После этой коротенькой речи Рейнгардта слово взял Грушин, молодой шатен, подстриженный ежиком. Наклонившись к самому уху, Леонтьев шепотом объяснил мне:

— Это — представитель немецкой группы. Он — от Бартельса.

Так вот кто это! И мне тотчас же вспомнилась высокая, плотная фигура советника немецкой миссии в Петербурге.

— Просим!

Грушин начал:

— Да, многое изменилось совсем неожиданно. После убийства Мирбаха немцы решили изменить весь свой план. И если прежде была надежда на то, что они войдут в Петербург, то теперь об этом надо забыть. Этот план оставлен. Волею судьбы мы должны сами выступить на борьбу с советской властью. Но мы также обязаны помнить, что мы одни и в данный момент, при настоящих условиях, ни с одной стороны не имеем права ждать никакой поддержки. Так, господа, и запомним.

Как бы подхватывая на лету эти слова, продолжая мысли Грушина, теперь утрюмо заговорил замкнутый и спокойный, всегда молчаливый Трофимов:

— Никакой поддержки нам и не нужно.

Кто-то громко заметил:

— Как же это так? Значит, выступать на «ура»? Неужели же вся наша сила — вот в этой горсточке из 11 человек? И это все?

Трофимов смерил говорившего тяжелым взглядом:

— Да. Нам никакой поддержки не нужно. Ниоткуда. Мы — одни. Это лучше. И чужих денег нам тоже не нужно. Мы обойдемся без посторонней помощи. Сами! Во всеулышание я объявляю всем вам, а вы запомните: будет сердце — будут деньги. Нам важно иметь не пособие со стороны. Нам нужна смелость! У нас должна быть сплоченная группа храбрых и решительных людей. Кто не чувствует в себе силы, пусть уходит. Мы обойдемся без него. Для нашей организации слабые — только обуза. Словом: сила и смелость!

Леонтьев сказал:

— Конечно, это так. Понятно, уступчивые души — не для нас. Но все-таки я не могу согласиться с теми, кто утверждает, будто нас достаточно и организация будет значительна при наличии каких-то 11 человек. Какой бы смелостью ни обладали мы, нас могут раздавить. Наконец, мы сами можем надорваться в борьбе. Нужны еще люди...

Трофимов ответил сразу:

- Люди будут.
- Откуда?
- Я дам.
- Тогда другое дело.
- Да, я дам сильную группу. За нее поручусь.
- Сколько человек?
- Не менее двадцати.
- Не мало ?
- Довольно.
- Кто такие ?

Трофимов обвел присутствующих глазами и уверенно сказал:

- Моряки.
- Дай Бог!
- Бог уже дал. Но нам нужны не только смелость, неуступчивость, решимость — нам необходимы не только люди, не только сплоченная и твердая группа. Нам необходим главарь, распорядитель, командир.

— С чего же начинать?

Не поморщившись, не дрогнув ни единым мускулом лица, Трофимов выговорил:

— Добывать деньги.

И все мы в тот же миг, как один человек, поняли, что предлагал Трофимов.

А он пояснял:

— В такой организации для наших целей полезны не только отчаянные смельчаки, но и умные, находчивые разведчики. Отныне на их обязанности лежит розыск богатых людей и денежных мест. Понятно ли, господа?

Несколько голосов ответили:

— Понятно.

— Но этого мало. Мы сейчас же должны выбрать из нашей среды казначея, кроме того — заведующего всей денежной частью. Запомним же и поклянемся: все добытые суммы мы обязуемся сдавать в организацию, как и вообще с этих пор все мы должны жить для нее, ради нее, служа только ей, отдавая все свои силы, время, мысли на ее пользу. Ни малейших уклонений! Никаких отговорок! Никаких

колебаний.

Комната загудела, заволновалась, ожила, вспыхнула спорами, тем беспокойством, которое возникает в толпе людей, когда они хотят проверить себя и других.

Трофимов крикнул:

— Подождите, господа! Молчание!

Все смолкло.

— Ну, что ж, ни у кого больше никаких вопросов нет?

Он прищурился.

— Очень много вопросов.

Трофимов кивнул головой.

— Ну, разумеется. Вы, господа, рано начали спорить. Главное — впереди.

Все насторожились.

— Сейчас же мы должны назначить людей.

Тонот твердым и решительным, не допуская никаких возражений, он закончил:

— Начальником ударного отряда становлюсь я.

Леонтьев пробурчал:

— Совершенно правильно.

Несколько человек одобительно воскликнули:

— Верно! Конечно! Просим!

— Теперь дальше. Казначеем я думаю назначить Рейнгартта. Согласны ?

— Согласны.

Мы назначили места встреч.

Леонтьев предложил:

— Самое удобное пока встречаться здесь же.

— В гостинице?

Другие запротестовали. Трофимов объявил:

— Да, здесь. Но только не в номерах, а наверху, в буфете.

— А в случаях особой важности и спешности, — заявил Рейнгартт, — можно у меня.

— Это где ?

— В Манежном переулке.

Наступал самый серьезный момент совещания.

Еще раньше со слов Леонтьева я знал, что одной из главных задач нашей организации будет захват советских должностей. Во все учреждения, в штабы, в тюрьмы и особенно в чека должны быть посланы наши люди, притом наиболее надежные. Теперь надо было только их избрать. Кое-где они уже служили. Несколько человек было у нас и на Гороховой, 2.

Совещание подходило к концу.

— Что выйдет из этой новой организации? Что ждет каждого из нас?

Наступали страшные дни отчаянных и рискованных дел.

— Хватит ли сил? Выдержит ли мое сердце? Что будет?

Это знает один Бог. Впрочем, это знал и я:

— Еще темней и глуше станет тайна и обильней потечет кровь.

XVIII

Похороны Варташевского

В то утро большой сад Петропавловской больницы, белый от снега, всегда молчаливый и мертвый, стал наполняться людьми.

Вдвоем с Леонтьевым мы вошли в один из подъездов и наблюдали за теми, кто пришел проводить несчастного, нас обманувшего Варташевского. Черный катафалк, запряженный черной четверкой, стоял у противоположного входа. Леонтьев закурил.

— Читали, как они его перевозносят?

— Да.

Газеты были полны хвалениями погибшему советскому летчику. Этому убийству хотели придать характер обширного заговора. Ненависть, проклятия, ругательства были во всех статьях, фельетонах, заметках. Но чувствовалось и большевистское бессилие. Было ясно, что нас боятся. Власть трусила.

Я об этом сказал Леонтьеву. Он горько усмехнулся:

— Да, обидно. Нас испугались тогда, когда нас не стало.

— Организация будет. Нас еще вспомнят.

— Давай Бог!

Из подъезда вышло духовенство. Отпевали два священника, и их серебряные облачения ярко искрились и производили впечатление какой-то особенно важной торжественности. За духовенством показался передний край металлического гроба.

Я сказал :

— А это уж совсем непонятно. Почему они его хоронят по церковному обряду? Надо бы уж по-граждански... Большевик — так пусть и в могилу сойдет большевиком! Кого они обманывают? Все ясно.

— Так-то так, да не совсем.

— То есть?

— Лучков рассказывал... Конечно, и тут не обошлось без маленькой подлости. Маленькой и глупой... Дело в том, что это они поступили по совету и настояниям Марии Дьяман.

— Неужели у нее, действительно, такое влияние?

— Видите ли, сами большевики хотели сначала устроить гражданские похороны. Конечно, внушительные и рекламные. Но и тут выскочила на сцену эта опереточная дрянь: «Как гражданские? Ни в каком случае! Варташевского надо хоронить по-настоящему, по православному, с духовенством, по всем правилам обряда». Нужно же это для того, чтобы публично демонстрировать... уважение большевиков к своим преданным спецам и даже к их религиозным убеждениям!

Он зло прибавил:

— Чувствуете, как зарывают собаку?

Что-то похожее на тошноту поднялось в моей душе. Я брезгливо повернулся спиной к поблескивавшему гробу, который в эту минуту вдвигали в катафалк.

— Какой жалкий конец нашел себе Варташевский! Оставленный всеми обманщик сходит в могилу, как советская марионетка! Удивительно, как они не обвесили этот

гроб и катафалк и черных лошадей своими лозунгами. Это было бы достойное завершение земного пути предателя!

Процессия тронулась. По растоптанной грязной дороге мы шли в толпе вослед возвышающейся, мрачно покачивающейся колеснице.

— Еще три дня тому назад Варташевский сидел у себя в Новой Деревне, читал шиллеровских «Разбойников», целовал Марию Диаман и был уверен в том, что никто ничего не знает, ни о чем не догадывается, все скрыто тайной, что так можно жить и дальше... Думал ли он, что так все просто, быстро раскроется, и его уже стережет не только кровь и гибель, но и публичный позор! Сейчас везут предателя, и все знают, кто он, как мерзка была эта жизнь, как торговал он чужим доверием, любовью, клятвами, — наконец, родиной.

— Да, в мире нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Я спохватился:

— Как? А вчерашнее совещание? А новая организация? Значит, и они тоже будут открыты и преданы?.. Не может быть!

Но внутренний голос зловеще подсказывал:

— Все может быть, и все будет!

Процессия шла, растянувшись змеей, изгибаясь на поворотах, привлекая удивленное внимание прохожих. Осиротелый, притихший Петербург давно отвык от пышных похорон и умирал бедно, стыдливо и жалко, будто тайком.

Куда везут тело, я сразу не мог понять. Мы двигались в странном направлении. Наконец, вышли на Каменноостровский.

— Куда же это его тащат? — спросил я Леонтьева.

— Как *куда*? А! понимаю! Тут тоже хитрый расчетец. Большевики решили отпеть и похоронить Варташевского, так сказать, в его усадьбе... В Новой Деревне ...

Я вздрогнул. Мне показалось, что меня ведут той самой дорогой, которой я ехал в ту ночь на убийство.

— Не хватило еще, чтоб они проследовали и на Елагин. Картина была бы полней.

Злоба dokonчила во мне:

— Но тогда надо было бы прокатить это тело по другим улицам и сделать остановку у места службы покойного. Хорошо было бы, например, покадить ладаном у дома на Гороховой, 2...

Я шел в закипающем смятении борющихся чувств, и глухой гнев, тоскливое уныние, душевная усталость, недовольство собой мучили и замедляли мой шаг.

Как дико и страшно! За гробом жертвы идет ее палач, тело убитого провожает убийца!

В этом было что-то странное и ненормальное, приводящее в ужас здравый рассудок простого человека. Но уже давно все смешалось, спуталось и исказилось в уродливой гримасе жизни.

На крутом завороте я приостановился. Мне захотелось взглянуться в эту толпу сопровождавших катафалк.

Кто они? Что привело их сюда?

Я стал всматриваться и кое-кого узнал. Это были люди из нашей прежней организации. Впереди и сбоку от них медленно выступал задумчивый человек среднего роста с темной бородой. Все время он шел, опустив голову, но и поступь и весь его вид дышали уверенностью.

Я спросил Леонтьева:

— Кто это?

— Ах, этот!.. Подвойский...

— А!..

Конечно, я о нем слышал. Он играл большую роль в красной армии. По крайней мере, этот действовал открыто. Кроме того, он был один из горячих защитников привлечения офицеров в строй.

Вполголоса Леонтьев мне объяснял:

— Он вам будет полезен.

— Он? Нам ?

— Да.

— Каким образом?

— Кое-кому из наших удалось его убедить в очень важном вопросе.

Я удивленно взглянул.

— Но ведь он — искренний большевик?

— Кажется, да.

— Ничего не понимаю... Мы и он!..

Еще тише Леонтьев продолжал:

— У Трофимова родился счастливый проект. Состоит он в том, что при штабах должны быть образованы своего рода военные чека. Ну, конечно, они будут называться иначе... Например, особыми отделами или, скажем, разведкой... безразлично. Вы догадываетесь, что из этого может выйти?

Я улыбнулся:

— Война красной и белой розы или два паука в банке — кто кого ?

— Совершенно верно.

— Ну, и что же? убедили?

— Еще как! Подвойский съездил даже в Москву к Троцкому.

— Да что вы?

— Представьте... И ведь, знаете, уговорил.

— Проект хорош... Но...

— Опасаетесь нового предательства?

— Нет, тут уж не предательство. Здесь может быть самая настоящая провокация.

— Вы думаете, что Подвойский лицемерит?

— Пока ничего не думаю... Я его просто не знаю. Но если он искренний большевик, то...

— А если б даже искренний?.. Пусть только создаст хоть одну офицерскую чека, и тогда для нас все двери открыты. Чуете, чем пахнет?

— Отлично чую. Но в таком случае самому Подвойскому не сносить головы...

Вдруг процессия замялась, задержалась, скомкалась, остановилась. Дорогу перерезал обоз. Мы вышли из толпы. Я взглянул вперед.

Первой за гробом в глубоком трауре шла Мария Дьяман под руку с другой женщиной. Я узнал ее сразу. Это была Изабелла Дуэро, красавица, испанка, любовница известного богача Рулева. Теперь она делала новую карьеру

— у комиссаров.

Унылый, медленный, замирающий звон редкими ударами проливался в холодном воздухе пасмурного, неживого дня. Понурая четверка черных лошадей остановилась у небольшой коричневой церкви. Кругом все было бело.

Издали слабо доносилось похоронное пение.

Из остановившегося автомобиля поспешно вышел человек и снял шляпу. Сквозь золотые очки остро поблескивали наблюдательные, беспокойные глаза. Он провел рукой по рыжей голове, заторопился впереди и остановился у входа в церковь.

— Смотрите, — сказал Леонтьев. — Вот этот рыжий... в стеклах... Знаете, кто?

— Кто-нибудь из них?

— Это — Урицкий.

Прищурившись, я придвигался к нему, всматриваясь в эту фигуру, стараясь подойти вплотную.

— Вы с ума сошли, — тревожно заговорил мне на ухо Леонтьев. — Куда вас несет?

— Любопытно.

— Остановитесь! Разве вы не знаете, как сейчас чекисты наблюдают за всеми нами.

Я остановился.

В ту же минуту почти рядом с Урицким я увидел Женю. Она стояла печальная, вся в черном, тоже в трауре, как и Мария Диаман.

Какая-то сила рванула меня вперед, и в тот же миг я почувствовал, как чья-то рука крепко схватила мою руку.

XIX

Разговор по телефону с чека

— Арестован! — мелькнуло в голове, на короткий миг приостановилось сердце, напряглись мышцы, и, стараясь высвободиться из схвативших меня железных тисков, я

дернулся — напрасно!

Тотчас же я обернулся. На угловатом лице Леонтьева двумя выдавившимися буграми выступали и двигались крепкие скулы. Он смотрел на меня в упор. Я услышал его голос:

— Ни с места! Ни шагу!

— Что с вами? — спросил я с удивлением.

— Не пуцу!

— Вы бредите... Что вам показалось?

— Это неважно. Но вы забыли, что вы здесь не одни.

— Неужели вы предположили, что я...

— Ничего не предполагал.

Мы прошли несколько шагов. Леонтьев начал:

— Вы ведете себя, как заговорщик. Зачем вы бросились вперед?

— Уж, конечно, не для того, чтоб убивать.

Оскорбленный его силой, все еще чувствуя боль в покрасневшей браслетом кисти руки, я недовольным тоном ворчливо бросил ему вопрос:

— Да и какое вам дело до моих решений и поступков?

— Ну, нет-с!.. Это касается нас всех. И прежде всего меня. Имейте в виду, что вы — член организации, а затем официально находитесь в моем распоряжении. Так вот, я вам приказываю быть осторожным. Поняли?

— Слушаюсь!

Потом, успокоившись, я объясняю Леонтьеву:

— Не понимаю, отчего вы взволновались. Я просто хотел подойти к сестре.

— Евгении Ивановне? А где же вы ее видите?

— Вон там... Около него...

— Так эта дама в черном — она?..

Мне показалось, что он чего-то не договорил. Неужели он догадывался или знал о любви Жени к Варташевскому? Да и была ли эта любовь? Что вообще произошло между этими двумя людьми? И почему ничего не видел я, не подозревал, никогда не сближал в моем уме этих двух имен?

— Боже мой! Чистая, святая Женя и он!..

Урицкий продолжал стоять при входе в церковь. Печально, прощальным звоном, медленно зазвонили колокола. Старушка около меня сказала:

— Сейчас будут выносить.

Я прошел вперед и выбрал место поодаль.

Могила для Варташевского была вырыта тут же вблизи, в церковной ограде. Снижаясь на толстых веревках, металлический гроб последний раз блеснул серебряным отливом и опустился в могилу. Стали закапывать, и среди нетронутой, блаженной белизны скоро вырос маленький рыжеватый холмик. Пред ним в рыданиях билась женщина, а ее поддерживали, будто стараясь поднять с земли, две других: Женья и Изабелла Дуэро суетились над рыдавшей Марией Диаман.

Потом я видел, как в холм вбили крест. Он был тоже бел, и на его перекладине неясно виднелась какая-то надпись.

Незнакомый мне человек в военной шинели прошел от могилы, остановился около Леонтьева и, что-то прошептав ему, заторопился дальше.

Леонтьев объяснил:

— Они ему даже заранее приготовили крест и надпись.. Знаете, какую? — «Полковник Константин Варташевский, павший от предательской руки убийцы за свободу и дело народа» ... И тут не удержались от лжи!

— Да... Пригвоздили даже на могильном кресте...

И вдруг пудовая, несказанная, томящая тяжесть легла мне на грудь. Душа сжалась от темной тоски, что-то подступало к горлу и сдавливало дыхание.

Я подошел к сестре, слегка обнял ее и тоном дружеского и грустного совета еле мог выговорить:

— Успокойся, Женья!.. Ты заблуждаешься... Ты не все знаешь... Он не стоит твоих слез.

Она мягко отстранилась:

— Оставь меня! Уйди! Мне хочется побыть одной... Христос с тобой!..

И она медленно поплелась в сторону. Я ничего не понимал.

— Узнала она о том, что убийца — я? Угадывала? Наконец, какое ей дело до Варташевского, до нас, до тайны его смерти? Но если ей сказали — я знаю, кто это сделал.

Я отправился к Кириллу. Был пятый час дня. Щемящие, серые сумерки невидимо переходили в пустынный и тревожный вечер. Кирилл меня встретил, будто ждал моего прихода.

— Ну, что, зарыли? — спросил он равнодушно.

Я кивнул головой. Он с сожалением взглянул на меня:

— Нервы гуляют?

Я молчал.

— Ну, ты тут делай, что хочешь, а мне надо на работу...

— Куда?

— Дельце одно наклюнулось. Надо довести, а главное, потом удрать.

Едва ли я искренне чувствовал хоть какой-нибудь интерес к тому, что говорил Кирилл, и все-таки тайное, скрытое, полумертвое любопытство заставило меня спросить:

— Разве уже наши начали?

— Обязательно!.. Велел подавать сам Трофимов... Этот не шутит.

Кирилл уехал. Я остался один.

У меня пока не было никакого назначения, не было ни желания, ни нужды кого-нибудь видеть. Я лежал, засыпал, пробуждался, вставал, ходил, снова ложился. О чем я думал весь этот день? Не знаю. О чем-то вспоминал, о чем-то рассуждал. Все было неясно!

Наступила апатия. Сердце не хранило ничего.

Кирилл приехал поздно, мы не успели сказать друг другу ни одного слова, — так он был утомлен, а у меня не было к нему никаких вопросов. Спросонья я только бросил:

— Кирилл?

— Я.

Рано утром он уехал снова, а к полдню вернулся, встревоженный, взволнованный, обеспокоенный и, не успев ввалиться в комнату, громко и нервно стал рассказывать пресекающимся голосом, все время проглатывая слюну и бестолково теряя слова:

— Ужасно. Ты не можешь себе вообразить... Надо сейчас же подумать!

Я вскочил.

— О чем ты? Что произошло?

Тогда, дернувшись, он топнул ногой и вскрикнул:

— Арестован Леонтьев!

— Что-о-о?

— Вот тебе и «что о-о».

— Где?

— В штабе.

— Откуда ты знаешь?

— Да ты-то только сейчас родился? Понятно, от Лучкова. Через Лучкова же мы узнали, что Урицкий спрашивал Леонтьева на допросе, ушел ли ты в Финляндию или еще обретаешься здесь. Конечно, Леонтьев ответил: «Не знаю». Тогда Урицкий спрашивает: «А что, Брыкин не может дать каких-нибудь показаний?..» Леонтьев опять: «Не знаю».

Мы зашагали по комнате. Наконец, я воскликнул:

— Надо идти на все, но Леонтьева спасти — во что бы то ни стало.

Мы стали думать.

Лихой человек Кирилл — лихой человек и плохой советчик. Его проекты были дерзки и смешны. Какой детской романтикой веяло от этих предложений:

— Напасть на чека!.. Отправить делегацию!.. Заявить протест!.. Убить Урицкого.

— Нет, Кирилл. У тебя — большое и смелое сердце, но насчет этого — я постучал по лбу — не богато.

— Ну, так изобретай сам.

У меня созрело решение... Оно было просто и, как мне казалось, не только логично, но и не предвещало никакой опасности.

— Я думаю поступить так... Сначала переговорю с Урицким. Конечно, по телефону. Из разговора будет ясно, серьезен ли арест Леонтьева, или нет... А там посмотрим.

У Кирилла загорелись глаза:

— А ведь и верно! Молодец же ты!

Я оделся и вышел. Первая мысль была:

— Откуда говорить по телефону? Ни из аптек, ни из магазина, ни из частных квартир нельзя было: во-первых, слышат, во-вторых, зачем навлекать подозрение на неповинных ни в чем людей ! Откуда же?

Я вспомнил.

Когда-то мне приходилось звонить по общественному телефону в Пассаже. Хорошо, если уцелел!

Я взял извозчика.

Гулко раздавались мои шаги по пустому, каменному, обнищалоу и холодному, когда-то многолюдному Пассажу. Какое счастье! Телефон работал. Я соединился:

— Попросите по телефону председателя чрезвычайной комиссии.

Отвечают:

— Сейчас.

Вслед за этим:

— Говорю я.

— Кто?

— Урицкий.. Кто у телефона?

— У телефона — секретный сотрудник главного штаба петроградского военного округа Брыкин.

В телефон говорить иронический голос Урицкого:

— Какой, однако, у вас громкий титул!

Я с достоинством парирую:

— Титул дан рабоче-крестьянской властью.

— По какому поводу вы звоните ко мне?

— В штабе мне сказали, что арестован Леонтьев и вы ищите меня.

— Ну, и что ж?

— А так как я знаю, что за мной никакой вины нет, я и звоню сам.

— В таком случае, приезжайте. Я велю вам выдать вни-зу пропуск.

Тогда я задаю лукавый и многозначительный вопрос:

— Скажите, товарищ Урицкий, брать ли мне с собой одеяло и туалетные принадлежности.

— Незачем. Можете не брать. Будете выпущены сразу.

В раздумье я выхожу на Невский.

— Чем я рискую? Ничем и всем! Кого разыскивают? Только Зверева. Да, он действительно убил и Томашевского, и полковника-летчика Константина Варташевского... Да, Звереву с Урицким встречаться не следует!.. Но Брыкин?.. Кто знает Брыкина? Кроме убитого Феофилакта, это известно одному-единственному человеку — Леонтьеву. Он один хранит тайну о том, что Брыкин и есть тот самый Ззерев, который...

Еще раз я спрашиваю самого себя:

— Значит, идти?

И отвечаю:

— Без сомнения, потому что теперь уже нельзя не идти. Ведь не Зверева уже, а теперь именно Брыкина ждет в эту минуту Урицкий.

Сажусь в трамвай. Доезжаю. Вхожу в подъезд. Называю себя.

— Проходите в приемную!

По двухъярусной лестнице с железными перилами подымаюсь во второй этаж, открываю дверь: я — в середине коридора. Предо мной — приемная бывшего петербургского градоначальника, теперь это — тоже приемная, но уже не градоначальника, а председателя чрезвычайной комиссии.

Рядом с ней — угловая дверь, ведущая в кабинет Урицкого.

Приемная наполнена людьми, и, скользнув взглядом по лицам, я ясно ловлю на них нечеловеческий ужас, животный страх, робкие надежды, рабскую покорность и трепет, трепет.

Я подхожу к дежурному чекисту и называю себя:

— Брыкин!

— Сейчас.

Меня проводят в угловой кабинет.

И сразу я узнаю рыжего человека с наблюдательными, прищуренными глазами, колюче смотрящими из-за больших золотых очков. Рядом за столом сидит другой. Я его не знаю.

Урицкий откидывается на спинку кресла.

В кабинете Урицкого

— И до сих пор я все помню так, как будто это случилось вчера. В жизни бывают неизгладимые впечатления, незаживающие раны. Есть неизлечимые потрясения нервов.

Скажу вам больше: чем дальше отходит от меня этот день, когда я переступил порог чека, тем отчетливей становится вся эта картина, эти мгновенные переживания, это смешение чувств испуга, дерзости и приговоренности. Всякий раз при воспоминании об этом мое сердце сжимается и бьется взволнованно и часто. Представьте себе, сейчас я многого не понимаю в самом себе:

— Как мог я решиться на это свидание с Урицким, войти в берлогу зверя и захлопнуть за собой дверь? Кто в мире добровольно устраивает себе западню? Никто! Простите меня, если и сейчас, рассказывая вам об этих часах, я не умею скрыть мое волнение...

Стол Урицкого стоял прямо передо мной, внутри, у стены, в углу, освещенный окном. Заслоняя второе окно, за другим столом сидел спокойный человек неопределенной наружности. Это был следователь чека по особо важным делам.

Зеленые глаза Урицкого пронизали меня сквозь блестящие стекла золотых очков, и в этом взгляде таился хитрый и хищный зверь. По всем его мягким и цепким ухваткам я сразу почувствовал, что он готовится к прыжку и сейчас бросится на свою жертву. Жертва — это я.

Я набрал воздуха, как это бывает с человеком, кидающимся в морскую глубь... Сзади меня закрывается дверь... Я делаю общий поклон. Молчаливо и вежливо они отвечают тоже поклоном. Жестом руки Урицкий приглашает меня сесть. Я опускаюсь на стул против следователя.

Две пары внимательных, настороженных, сверлящих глаз впиваются в меня, будто разрывая преграды и заглядывая в самые сокровенные тайники моей души.

Урицкий произносит:

— Ну, вот и отлично... Как вы скоро пришли! Должно быть, спешили?

Из большого серебряного ящика следователь предлагает мне папиросу. Я закуриваю, выпускаю дым и весь сжимаюсь в крепкую, скрученную пружину.

— Очень рад с вами познакомиться, — говорит следователь.

Он смотрят на меня спокойным и ждущим взглядом.

— Так вот, начнем беседу, — тянет он слова. — Скажите: вы давно состоите секретным сотрудником главного штаба?

Стараясь придать моему голосу тон правдивой простоты, я отвечаю:

— С самого начала большевистской революции.

— Это очень хорошо. Ну, а что вы делали до нашей революции?

На один пронесшийся миг у меня возникают колебания. Что сказать? Конечно, я был помощником Варташевского. Но ведь то был Зверев, а я — Брыкин. Что же я делал? Я говорю:

— С февраля месяца я был очень тяжело болен.

Оба — Урицкий и следователь — настораживаются. В комнате наступает тишина. Я выпускаю изо рта три кольца дыма, они плывут, качаются, тают и расплываются синеватой лентой.

Следователь прерывает молчание:

— А скажите, пожалуйста, вы были знакомы с Леонтьевым?

Я равнодушно говорю:

— Был.

— Как вы познакомились?

— По делам службы.

Будто хватая меня и желая поразить внезапностью вопроса, следователь бросает :

— Как настоящая фамилия Леонтьева?

— Леонтьев.

— Только?

— Да. Я знал его только как Леонтьева.

— А вы разве не знаете, что его настоящая фамилия *Горянин*?

— Первый раз слышу!

Тогда вкрадчиво мне задают страшный, грозный, роковой вопрос:

— Но, может быть, вы знали, что Леонтьев является агентом умершего английского капитана Фрони?

Наступает торжественная пауза. Рыжий человек пригибает голову и прищуривает правый глаз. Все ждут. Сейчас я их поражу.

— Да, я это знал, — произношу я так, как будто заявляю о том, что сегодня утром пил чай.

От удивления Урицкий привстает с места. Правую рукой он опирается на стол. Левая рука в перстнях медленно проводит по рыжей голове. Он подается вперед. Он удивлен и ошеломлен. Я весь напрягаюсь в последней решимости казаться равнодушным.

Урицкий раздельно, словно ничего не понимая, растерянно, со скрытой злобой выдавливая из себя:

— Как так? Вы знали, что он — агент Фрони? И вы с ним работали?

— Да.

— Почему же вы не донесли мне? Значит, вы с ним заодно?

Я прошу:

— Разрешите встать.

Я прохаживаюсь по огромному, великолепному ковру взад и вперед, потом останавливаюсь пред Урицким и сам задаю ему вопрос:

— Скажите, товарищ Урицкий, кто я такой? Вы знаете?

— Знаю.

— Я был секретным сотрудником главного штаба. Как вы думаете, мог я в этой должности не хранить секретов?

Урицкий слушает меня с напряженным вниманием. Я продолжаю:

— Я не только знал, что Леонтьев — агент Фрони, но я был этим очень доволен. Посудите сами: наши враги сами

идут в наши сети, а я этому препятствую. Леонтьев их заманивает, и я иду и выдаю его. Разве это возможно? Мне, как, конечно, и Леонтьеву, нужно было прежде всего использовать этих заговорщиков ...

Я пожимаю плечами:

— Хорош бы я был секретный сотрудник, если бы сообщил об этом даже вам! Ведь это значило сорвать дело на половине.

И заканчиваю:

— Интересно, как бы вы поступили на моем месте, товарищ Урицкий?

Урицкий медленно и тяжело опускается на стул, повертывает голову к окну и долго сопит.

— А знаете, вы — талантливый человек!..

В голосе его слышится не то ирония, не то признание. Он заканчивает с усмешкой:

— Я многое дал бы, если б вы стали... моим сотрудником.

Следователь перебил его:

— Как вы относитесь к рабоче-крестьянской власти?

— Это показывает моя работа.

— Вы — партийный или беспартийный?

Тоном, в котором чувствуется пренебрежение к незначущему вопросу, я отвечаю:

— После того, что я сделал для рабоче-крестьянской власти, совсем неважно — партийный я или нет. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что, если бы я был даже партийным и не сделал того, что я должен был сделать, это было бы гораздо хуже...

— Что еще вам известно о Леонтьеве?

— Ничего... Знаю только, что он всегда был ярым сторонником советской власти... по крайней мере, так мне казалось.

Следователь потер руку об руку, откинулся на спинку кресла, — очевидно, допрос был окончен.

У меня пронеслось:

— Вот. Наступило! Что будет сейчас?

Сладким, ласковым и подлым голосом заговорил Урицкий:

— Дорогой наш товарищ Брыкин! Хотя вы стоите, конечно, вне всяких возможных подозрений, вы все-таки можете нам еще понадобиться и — кто знает? — даже очень скоро, и мне искренне не хотелось бы с вами расставаться. Поэтому я готов вам предложить остаться у нас...

Он позвонил. Тотчас же послышался стук в дверь. Урицкий сказал:

— Войдите!

Весь в желтой коже, с наганом за поясом, высокий, черный, сухощавый комендант чека вытянулся, ожидая приказания. И Урицкий его отдал:

— Товарищ комендант, будьте добры, препроводите моего дорогого знакомого, товарища Брыкина, в кабинет № 7.

Я встал и поклонился. И они тоже ответили поклоном. Вежливость необыкновенная! В эту минуту мы были похожи на прощающихся джентльменов, только что окончивших важный деловой разговор.

Не проронив ни слова, мы шли с высоким черным человеком по коридорам, по лестницам, встречали людей и, наконец, остановились пред запертой дверью.

Комендант любезно объявил:

— Вот и ваши апартаменты!

На двери чернела цифра «7», и по коридору около камеры медленно расхаживал часовой.

Комендант щелкнул ключом, дверь отворилась — в камере стоял арестованный.

— Входите, — предложил комендант.

— Я не войду.

Меня охватило упрямство. Я почувствовал прилив тихого бешенства; в эту последнюю минуту, отделявшую меня от неизвестности, от неволи и заточения, я с нечеловеческой жадностью, с животным упорством хватался за мою уходящую свободу.

Едва ли ясно понимая, что я говорю, что делаю, я громко заявил:

— Я не арестован. Я занимаю пост повыше вашего. Я — не обвиняемый и даже не подозреваемый. Я никуда не сяду. Я — секретный сотрудник.

Пораженный комендант смотрел на меня широко раскрытыми глазами. С минуту помявшись, он решился:

— Ну что ж, пойдете.

И опять теми же лестницами, теми же коридорами, по тому же пути мы вернулись в приемную...

XXI

В западне

В приемной я сажусь. Около меня незаметно становится человек. Это сторожит меня чекист. Я оглядываю комнату, она все еще полна, все то же выражение лиц, все то же волнение, та же боязнь — ее даже не скрывают.

Комендант возвращается:

— Ну, пойдете.

На этот раз я слышу в его голосе гораздо больше уверенности. Очевидно, Урицкий отдал решительные приказания. Мы снова бредем тем же путем. Машинально передвигаю ноги. Все равно!

Через минуту за мной запирается дверь одиночной камеры. Она невелика, грязна, темновата. Я рад, что нет яркого света. Так спокойней! Я приказываю себе забыть обо всем, ложусь, смотрю на потолок.

Около кровати, под окном — стол, напротив — дверь, в ней — заслоненное отверстие. На тюремном языке оно называется «глазок». Через него всякий может наблюдать за мной.

Но забвения нет. То вспыхивающие, то погасающие, то вялые, то обжигающие, мои мысли не текут, а как-то выскакивают и снова прячутся в мозг.

— Ну, вот и конец! Едва ли я серьезно помог Леонтьеву... Но себя я, без сомнения, погубил...

Припоминая теперь свои раздумья и тревоги, я мог бы сказать, что в те минуты я хотел только одного:

— Лишь бы все кончилось скорей! Если милая свобода — пусть придет сейчас. Если расстрел — пусть он свершится этой ночью.

Так прошли три дня. Ночью меня разбудили. Одновременно в голове и в сердце что-то сказало:

— Кончено!

Чекист торопил:

— Скорей! Чего там долго одеваться.

И на что-то ехидно намекая, тихо издеваясь, прибавлял:

— Идти недалеко... Идти совсем близко...

Я оделся. Опять коридоры, гул шагов, ночная тишина, слабый свет лампочек. Сердце стучало так, что было слышно.

— Неужели смерть? Не может быть!

Чекист щелкнул ключом. Я очутился в общей камере.

В полутьме я не успел разобрать, сколько человек здесь спали. Кровати были поставлены в ряд, и кое-где между ними виднелись небольшие ночные столики. Сквозь зарешеченные маленькие окна густел мрак петербургской ночи. Чекист молча показал на мое место. Я лег и сразу успокоился. Да, человек находит свое величайшее несчастье только в одиночестве!

Вот — та же тюрьма, та же неизвестность, но около меня спят люди. Я слышу их сонное дыхание, и мне кажется, что в мире есть покой. Никогда я так не хотел умиротворения и тишины, как в этот ночной час, в этой общей камере, среди неведомых соседей, пред моим таинственным будущим.

Я стал засыпать. Меня тотчас же разбудил крик. Он был протяжен. Кто-то кричал:

— Ай-яй-яй-яй!

Вопль неся на одной ноте: кто-то бредил во сне.

Я невольно прислушался к этим чужим дыханием. Как они были беспокойны, и невысказанное горе, сердечная тоска, ужас пред тьмой и усталость невольно угадывались в этих всхлипываниях, надорванных вздохах и плаче! В эту

ночь я услышал впервые за всю мою жизнь, как человек может плакать даже во сне, и тоже впервые в эту ночь я пожалел человека, его незащищенность и горькую участь на земле.

Странно пробуждаться среди чужих людей! Я не знал, поднять ли мне голову.

— Не улыбайтесь: это не так просто!

Но уже смотрели на меня несколько глаз. Вы удивитесь, если я вам скажу, что эти взгляды были полны сочувственного сожаления ко мне, и это для меня до сих пор — необъяснимое явление. Сам человек может быть в ловушке, но если попадает другой... казалось бы, двое? Легче? Но всегда первый жалеет второго. Бросим психологию!..

Меня заставил подняться возглас:

— Эге, новенький !

Необычайно торопливо и даже с суетой в движениях одевался матрос. Потом мы познакомились. Его фамилия была Крупачев.

Ужас тюремного заключения не в том, что кто-то принуждает делать не ваше дело, а в том, что вас обрекают на делание. В этих стенах заключения наступает холод души, мертвенное течение погибающих часов, тихое и ровное отпевание жизни. Очень тяжка жизнь без жизни, которую чувствуешь здесь же, за стенами тюрьмы, а она всегда стучится... стучится... зовет. Вот звонкие голоса ребятишек во дворе... чекистские дети! Я задаю себе вопрос:

— Почему «чекистские»? Просто дети!

Но что-то отвечает во мне:

— Нет, чекистские!

— Убил бы ?

— Да... Нет!

Потом снова:

— Убил бы?.. Нет! Нет, детей не убивают.

— А чекистских жен?

— Нет: женщин не убивают.

— А Марию Диаман? Пощадил бы теперь?

И зловеще подсказывает:

— Она предала Леонтьева... Убил бы?

— Нет!

Даже теперь, после ее такой загадочной и трагической гибели, я говорю себе и вам:

— Нет, на эту женщину я не поднял бы руки.

Впрочем, вы скоро поймете, как я был прав и справедлив.

Вы интересуетесь подробностями ? Извольте!

На другой день к нам перевели еще двух. Можно сказать, целую фирму. Они вошли в камеру и расшаркались. Сразу бросились в глаза точные, прочерченные проборы чрез всю голову, свежие английские костюмы и та самоуверенность, которая приходит к людям, делающим большие дела и распоряжающимся многими судьбами. Это были братья Нобели. Надеюсь, фамилия известна и вам? Ну, конечно! Об этих любезных и молчаливых людях я мог бы и не упоминать, но именно с ними и связано одно мое замечательное воспоминание..

Топот, грохот, шум и голоса вдруг понеслись с тюремного двора, и неведомо, как и почему мы все почувствовали, что свершается потрясающий, внушительный и властный акт.

Отщелкнулся «глазок».

Молчаливый часовой сказал:

— Рабочие протестуют... Требуют Нобелев.

Я взглянул на братьев. Один поплоней, другой худой, они сидели на своих кроватях в скромной и выжидательной позе, и ничто не выдавало ни их внутреннего беспокойства, ни их надежд.

Вошел комендант.

Крикнул:

— Нобели, на волю!

Два слова, и в то же время одно навсегда хранит мой слух:

— «С воли». И еще: «на волю».

Только за решеткой и запертой дверью понимаешь это прекрасное, великое и чудесное слово: воля! Все уходит, душа утрачивает желания, гибнут силы, но воля человека живет до смерти.

Кто был еще в камере? Ах, да, польский журналист Леон Плечко. Очень иронический человек! Все время говорил, подсмеивался над советской властью и очень храбрился... Впрочем, его очень скоро и выпустили... Да, да, с бородкой!

Запомните: общая камера — мир редкой деликатности. Должно быть, только в несчастье человек становится чуток к чужому страданию, и эта новая воспитанность у нас выражалась в том, что ни один из нас ни разу не упомянул о дорогой или близкой женщине. Мы никогда не хотели и не могли говорить о том, что измучивает.

Разбудили меня снова ночью:

— Товарищ Брыкин!

По дороге я спросил белокурого чекиста:

— Куда ведете?

Он долго молчал, колеблясь и не решаясь сказать.

Наконец, ответил:

— К следователю.

— Как его фамилия?

— Дингельштедт.

В небольшой комнате сидел тот, кто меня допрашивал в кабинете Урицкого.

С изысканной любезностью он предложил мне сесть:

— Не угодно ли?

Его рука чуть-чуть приподняла и поднесла мне серебряную сухарницу. Тонкими ломтиками на ней лежал белый хлеб. Около стояли две тарелки — одна с колбасой, другая со сливочным маслом — и стакан чая.

— Пожалуйста!

Я взял.

— Собственно говоря, — начал Дингельштедт, — мы вас решительно ни в чем не обвиняем... Кстати: вам очень тяжело сидеть в общей камере?

Я усмехнулся:

— Думаю, что вы сами знаете, как это весело.

Он потер лоб.

— Видите ли, мы могли бы освободить вас даже сейчас, но... Самое лучшее, если мы с вами об этом переговорим с самим Урицким.

Он взял телефонную трубку:

— Товарищ Урицкий?.. У меня — товарищ Брыкин...

Полезно посоветоваться. Что?.. Да!.. Сейчас?.. Хорошо!..

Дингельштедт привстал.

— Что ж, пойдемте, — сказал он равнодушно.

Мы идем по темным коридорам. Тайнственность и мрак. Дингельштедт слегка подталкивает меня сзади. Я чувствую себя гонимой жертвой. Мне хочется крикнуть:

— Не дотрагивайтесь!

Но я иду покорно.

Внезапно он хватает меня за плечи, поворачивает, на-
распах, шумно открывает дверь, и меня мгновенно ослеп-
ляет яркий, сверкающий блеск огней, льющийся сверху, со
стен, с огромного красного письменного стола, и на мину-
ту кажется, что он льется и из этих больших золотых оч-
ков. За ними — зеленые глаза.

Урицкий предупредительно встает, идет мне навстречу
и протягивает руку.

И я (да, я!) — я жму эту руку, эту руку жму я!

Он показывает мне на кресло против себя и говорит:

— Будьте любезны!

Буду ли я сейчас любезен?..

XXII

К стенке

Нежданно попавший в этот сверкающий поток света
среди нарядной обстановки кабинета, после убогой, душ-
ной, грязной камеры я чувствовал себя на каком-то пыш-
ном торжестве, будто приехал на бал или праздник.

Франтовато одетый, с перстнями, переливающимися бри-
льянтовыми искрами, Урицкий сидел против меня и пре-
дупредительно, вкрадчиво, с несходящей улыбкой говорил,
спрашивал и льстил:

— Мы не хотим причинить вам никакой неприятности. Это совсем не входит в наши планы. Мы умеем отличать врагов от друзей и вредных от полезных. Конечно, не все говорит за вас, но мы уверены, что ваши уклонения и ошибки могут быть легко исправлены. Не правда ли?

Он протягивает мне сигару.

— Я не курю сигар.

Тогда следователь вынимает портсигар и предлагает мне папиросу. Я закуриваю. Дингельштедт пристально смотрит на меня, будто изучает или разгадывает. Мое лицо немое и неподвижно.

Урицкий продолжает:

— Мы совсем не слепы, и мы никогда огульно не осуждали офицеров.

При слове «офицеров» он впивается в меня глазами, и их зеленый цвет поблескивает и темнеет.

Я продолжаю молчать.

— К моему крайнему сожалению, — мягко цедит рыжий человек, — мы вас очень мало знаем. Наши сведения о вас отрывочны и неполны. Но...

Тут он ударяет ладонью по столу...

— Но все-таки у нас достаточно данных для того, чтобы составить о вас ясное представление.

Я медленно поднимаю на него глаза. Они выражают вопрос:

— Кто же я такой, с вашей точки зрения?

И, будто поняв мое желание, Урицкий отвечает :

— Прежде всего, вы — очень способный человек.

В слове «очень» он растягивает «о», и этот звук походит на пение, а хитро прищуренный глаз под золотыми очками придает похвале какое-то двусмысленное и затаенное значение.

Я наклоняю голову и говорю:

— Спасибо за лестное мнение.

— Да, да, вы — очень способный человек! А вы должны знать, что никто так не ценит нужных и способных людей, как мы, и ни у кого больше нельзя так много сделать и так выдвинуться, как у нас.

Я настораживаюсь. К чему клонится речь Урицкого ?

Вслед за этим он произносит твердо и отдельно:

— Не думаете ли вы, что нам с вами удалось бы найти, например, некоторый... общий язык ?

Я молчу.

— Вы меня понимаете?

Я затягиваюсь и не отвечаю ни слова.

Урицкого это раздражает. Он кладет руки на край стола, его пальцы бегают и постукивают, будто он играет на рояле.

— С вами я могу говорить совершенно откровенно. Прежде всего, я должен заявить вам, что вы могли бы из этого кабинета выйти прямо на свободу. Это всецело зависит от вас. И вообще все сейчас — только в вашей воле. Как вы решите, так и будет. Хотите ли вы освобождения ?

— Разумеется.

— Ну, вот видите. И я сам хочу выпустить вас. Это легко сделать. Однако, вы должны в трехдневный срок нам дать реальные доказательства вашей преданности и готовности искренне и честно служить советской власти. Мы хотим получить от вас убедительный аванс.

— То есть?

— Вы не должны ничего скрывать.

Теперь для меня все ясно. Урицкий предлагает мне роль Варташевского. Он зовет меня на предательство. Я загораюсь страстной ненавистью. Мне хочется его ударить, оскорбить, крикнуть в лицо этому рыжему человеку слова презрения и гнева.

Но тайная мысль подсказывает выход:

— Соглашайся! Лишь бы выйти! А там — пусть ищут ветра в поле.

Будто угадывая эту мысль, Урицкий говорить:

— Но помните: вам никуда не удастся уйти из наших рук. Никуда!.. Мы будем знать о каждом вашем шаге...

Я храню молчание.

Тон голоса Урицкого теряет мягкость. Рыжий человек теперь пренебрежительно бросает мне предостерегающие слова:

— На всех вокзалах вас будут подстергать. Выехать вам, во всяком случае, будет нельзя. И так?

Я молчу.

— Еще раз я говорю вам: немедленная свобода... Три дня испытания... ваша полная откровенность...

Меня охватывает отчаяние. Ни в одиночке, ни в общей камере, ни на первом допросе ни разу я не чувствовал так остро, что я окружен, что я — в западне, я — в ловушке, что выхода нет и не будет.

Отчаяние переходит у меня в апатию. Со склоненной головой я сижу пред моим палачом.

Урицкий обращается к Дингельштедту:

— Распорядитесь!

Тот уходит.

Мы остаемся вдвоем. Урицкий придвигает к себе какое-то дело в синей обложке и начинает бегать глазами по строкам. Это означает, что со мной кончены всякие разговоры.

Появляется Дингельштедт в сопровождении маленького человека на кривых ножках. Его волосы прилизаны и блестят по обе стороны пробора двумя крылышками. Маленькие, угодливые глаза кажутся маслянистыми. Потом я узнал, что это — помощник коменданта чека и убийца Шингарева.

Он приглашает меня:

— Пожалуйте!

По лестнице в полутьме мы сходим вниз. Мне не надо себя спрашивать, куда меня ведут: ясно — в подвал.

Там нас ждут двое красноармейцев чека. В руках у них — винтовки. Они вяло стоят в привычных, равнодушных позах, лениво облокотившись на стволы.

Маленький человек с маслянистыми глазами приказывает:

— Станьте к стенке!.. Вот сюда... Вот так.... Нет... Лицом туда...

Я поворачиваюсь к стене, и в эту минуту в моей голове проносится, теснится, вылетает спутанный рой обрывков мыслей, встают и тотчас же пропадают бегущие воспоми-

нания. В бешеной чреде пролетают Варташевский, Трунов, Женя, Мария Диаман, Феофилакт...

Я вспоминаю, креплюсь и молюсь о чуде.

— Господи, спаси! Прости и помилуй!.. Ты все можешь — даруй мне жизнь, продли ее и защити, Господи, Господи!..

Я не доканчиваю молитвы, летящий клубок чувств, надежд, мыслей, лиц обрывается, останавливается и погибает.

Маленький человек с лоснящимися волосами командует:

— На изготовку!

Я слышу звяк ружей.

Он объясняет:

— Когда я махну платком первый раз — заряжать. Когда махну второй раз — стрелять!

Остановилось сердце. Я чувствую, как похолодела моя спина, и цепкие спазмы схватили и сжали затылок.

С треском по воздуху хлопает платок:

— Щелк!

Я ощущаю тупой приступ тошноты. Мне хочется свернуться в комок, броситься на землю, зарыться в нее, спрятаться, уснуть. Какое неповторимое блаженство спать! Как хочется покоя!

Затворы лязгнули.

По всему телу пробежала последняя дерущая и расслабляющая дрожь.

Маленький человек на кривых ножках повторяет:

— По второму взмаху платка — стрелять!

И почти тотчас в моих ушах раздается громкое щелканье носового платка:

— Щелк!

Сознание покидает меня. Не ощущая больше ни своего тела, ни своей головы, ни самого себя, похолодевшим трупом я падаю на пол.

Выстрелов не было. Солдаты стреляли без патронов. Но этот предсмертный ужас, эта пережитая гибель, эта стена, лязганье затворов до сих пор живут во мне, как вечная и неисцелимая потрясенность. И теперь мне все еще кажет-

ся, будто когда-то однажды я уже умирал и снова был возвращен на землю, как воскресший из мертвых. Нет, это страшнее смерти!

Я очнулся в незнакомой комнате на кожаном диване.

Слабость, изнеможение, нежелание жить — вот что я ощущал в эти первые минуты моего возвращения к жизни. Я попросил воды. Мне принесли.

Я лежал в этой еле освещенной комнате с раскрытыми глазами и безнадежно понимал, что меня все равно убьют — сначала поиздеваются, сделают сумасшедшим и потом прикончат.

Кругом не было ни души. Может быть, кто-нибудь стоял за дверью. Я никого не видел.

Ранним сереющим утром я внезапно открыл глаза. Наклонившись надо мной, невысокий человек, оглядываясь по сторонам, тихо и быстро зашептал:

— Вам кланяется Леонтьев. Проситесь, чтобы вас выпускали в уборную в два часа дня. Я вам буду сообщать о положении дел.

Он исчез.

— Кто он? Откуда? Быть может, чекистский шпион?

Вдруг будто меня осенило:

— Лучков? О, если бы он!

Всплыли пророческие слова:

— Если когда-нибудь и вы попадете в чека — познакомитесь...

Я спустил ноги с дивана. Так сидел я и думал ни о чем, в смутном ожидании неизвестности, грозившей мне новыми унижениями и ужасом.

Открылась дверь.

Черненькая, миниатюрная, сухощавая женщина с красивыми темными глазами энергичной походкой вошла в комнату, приблизилась ко мне и, ласково улыбаясь, потрепала меня по подбородку.

— Такой хорошенький и должен умереть! — сказала она. — И вам не жаль себя?

Это была известная чекистка Яковлева.

XXIII

Чекистка

Время плыло медленно и скорбно. Все те же люди, та же камера, один и тот же распорядок часов, убогий корм, робкие, вянущие надежды. Тоска, тоска!

Зима была на своем ущербе, в воздухе пахло талостью, солнце чаще и чаще выходило на небо, и в голосах на дворе, в томлений сердца, в ранних пробуждениях, в моей бесполезной бодрости я чувствовал весну.

В Благовещение меня вызвали на допрос. Вместе с дежурным чекистом я прошел в большую, полутемную, нарядно обставленную комнату. Был вечер. Бронзовые бра через матовые лампочки бросали мягкий свет на портьеры, на большой письменный стол, на мягкие кресла, крытые светло-зеленой кожей, на белую медвежью шкуру, на красивую маленькую сухощавую женщину с черными глазами, в черном платье с прозрачными рукавами из легкого шифона, с ниткой розового жемчуга на шее.

Пахло духами. Казалось, что я пришел с визитом или в гости. Я сделал почтительный поклон даме. На лице Яковлевой играла кокетливая улыбка. Она протянула мне руку, и я чуть-чуть не поцеловал ее.

Яковлева спросила:

— Как ваше здоровье?

Я слегка пожал плечами:

— Благодарю вас, я здоров.

— Как вы себя чувствуете? Вам, конечно, скучно?

— Заточение ни для кого не бывает приятным.

— Да... Да... Я понимаю... Но вы сами виноваты.

— Не знаю, в чем моя вина.

— Вы нам не верите... Вы не хотите понять, что все мы вас искренне жалеем.

Понизив голос, она произнесла, подчеркивая, на что-то намекая, будто соблазняя и даря какие-то смутные обещания:

— Особенно я...

Я с улыбкой благодарности наклонил голову.

— Но вы — большой упрямец. Вас нельзя сдвинуть с места. Вы все время ведете себя так, как будто ходите в шапке-невидимке. Неужели вы можете серьезно думать, что вы окружены непроницаемыми потемками?

— Я как раз всегда хотел, чтоб вам было все ясно. Мне не в чем оправдываться и нечего скрывать.

Небрежно играя жемчугом, смеясь, она тоном светской женщины, ведущей дружественный разговор в гостиной, сказала:

— Послушайте, ведь вы же — белый. Мы это отлично знаем. А вы все время убеждаете нас в том, что вы — на стороне советской власти. Подумайте сами: кто этому серьезно может поверить?

— В том-то и дело, что вы не хотите верить.

Черные глаза расширились, мигнули, стали удивленными и — странно сказать — ласковыми:

— Я? Вам? Не хочу верить? Если бы вы знали, как я этого хочу!

— В чем же дело?

— А в том, что девяносто процентов против вас. Ведь мы же — не дети.

— Я не смею вас ни в чем убеждать, — ответил я со вздохом.

— Вам нужно не убеждать нас, а сразу убедить. Достаточно взглянуть на ваше лицо, чтоб сразу определить, кто вы такой.

Она повернула свою приподнятую голову в сторону и, будто выучив наизусть, стала перечислять:

— Выхоленные руки... тонкая, нежная кожа... спокойные, уверенные глаза, никогда в жизни не знавшие слез... губы, будто созданные для радостей жизни и наслаждений... барские манеры... А как вы кланяетесь! Будто вы вошли во дворец... Есть вещи, которые нельзя скрыть.

— Но неужели все это может быть поставлено мне в вину?

— О нет, но в этом раскрываетесь вы весь.

Она весело захохотала:

— Вы и рабоче-крестьянская власть! Вы только вникните: рабоче-крестьянская! Что общего?

— Да, конечно, я — не рабочий и не крестьянин. Но это не мешает мне служить существующей власти и исполнять то, что мне поручено.

— Нет, этому нельзя поверить. Вы не только не наш, вы — наш враг.

— Я ничего не могу вам возразить... Вы просто не хотите верить мне, а в таких случаях всякие оправдания бесполезны.

Я сидел против этой миниатюрной женщины, сверкавшей большими черными глазами, слушал ее то тихий, то звонкий смех, следил за ее словами и никак не мог понять:

— Чего она добивается? Зачем мы говорим с ней? Какие бесполезные разговоры!

Вероятно, мое лицо не выражало ничего, кроме скуки и безнадежности. И будто угадав все, что я чувствую в эту минуту, что я думаю, что переживаю, она решительно произнесла:

— Ну, сбросим маски!

— То есть?

— До сих пор я надеялась, что вы сознаетесь хоть мне. Вы не желаете? Тогда я вам должна заявить прямо: Леонтьев сознался.

— Это меня не касается.

Яковлева встала, обошла стол и с улыбкой нежности, гипнотизируя меня взглядом черных глаз, приблизилась и двумя надушенными пальцами ласково похлопала по щеке:

— Не ухудшайте своего положения! Вы красивы! Вы молоды! Вся ваша жизнь впереди... Не губите ее.

Снизив голову, внушительно и еще тише она почти прошептала:

— Мне так жаль отправить вас на расстрел.

Шепот звучал зловеще, и вся она в эту минуту была страшна. Выпытывающая и ласковая, жестокая в неуловимых оттенках своей змеиной жажды укуса, властная и робкая, с подергивающейся хищно нижней губой, с нервно дрожа-

щим левым веком, казалось, она в эту минуту играла со мной, как с мышью играет притаившаяся кошка, приготовившаяся к последнему прыжку.

— Да, жаль вас посылать на смерть...

Она сделала паузу, провела легкой рукой по моим волосам и со вздохом закончила:

— Но придется.

Яковлева подняла глаза кверху, заложила руки назад, прошлась сзади меня по комнате. Потом взяла меня под руку и плечо к плечу, тело к телу, шаг в шаг, вместе, рядом с этой нервной, сухощавой, словно бестелесной, надушенной женщиной мы стали прохаживаться по кабинету, буд-то влюбленные, ведущие притихшую интимную беседу.

Неторопливо, мягким, почти ласковым тоном, как говорить с верным, испытанным, старым другом, один за другим она задавала мне вопросы, и разговор был прост.

— Вы очень любите вашего Леонтьева?

— При чем тут любовь? Мы были с ним в деловых, служебных отношениях, и только.

— Вы давно с ним знакомы?

— С тех пор, как начали работать вместе... когда вы пришли к власти... в ноябре.

— Он — хороший товарищ?

— Думаю, да. Он честный и прямой.

Мы опять подходили к столу.

Вдруг она вырвала руку, мгновенно повернулась ко мне лицом. Ее нижняя губа затрепетала нервной дрожью, и в черных глазах блеснул жадный и злой огонь.

У меня сразу мелькнуло:

— Садистка!

Неподвижно вперя в меня свой взгляд, Яковлева стала пятиться к столу, обошла его, села, молча указала мне на светло-зеленое кресло и нажала кнопку.

Вошел белокурый человек.

— Попросите следователя Дингельштедта.

Я сидел, опустив глаза, равнодушно чувствуя, как в моем сердце растет испуг, как оно наполняется темной тревогой.

Вошел Дингельштедт.

Яковлева кивнула ему головой. Он наклонил ухо. Яковлева шепнула ему что-то короткое, и в ту же минуту Дингельштедт поманил меня пальцем.

Я встал и пошел за ним.

А он тихо двигался в противоположный угол комнаты, и указательный палец его правой руки все продолжал меня манить.

Вдруг сразу огненно, с ослепляющей яркостью зажглось электричество и затопило всю комнату нестерпимым блеском.

В углу за черной шелковой занавеской пряталось что-то высотой в человеческий рост. Около занавески, лицом ко мне, остановился Дингельштедт.

— Стойте, — приказал он мне.

Я вытянулся.

И в тот же миг быстрым, резким, коротким, рвущим движением он отдернул черную занавеску.

За ней была этажерка. На ее верхней полке в стеклянной банке со спиртом на меня смотрела мертвая голова с немигающими, остановившимися глазами.

У меня оборвалось сердце.

Глядя исподлобья, Дингельштедт раздельно и уверенно произнес:

— Это лицо вам, наверно, знакомо.

Собрав последние силы, я ответил:

— Первый раз вижу.

XXIV

Внезапное освобождение

В камере я лег и долго не мог прийти в себя.

— Несчастный Трунов!

Эта голова в банке, не уходя, стояла предо мной пугающим призраком, и немигающие, открытые глаза смотрели на меня в упор, будто спрашивали о чем-то и удив-

лялись происшедшей трагедии.

Я ничего не знал, ничего не слышал о его смерти, и само имя Трунова в последний раз прозвучало в моих ушах на квартире у Марии Диаман в тот злополучный день, когда меня искали и преследовали чекисты, а я бежал и прятался внизу у прачки, а потом под лифтом.

Тогда это имя произнес переодетый матрос, хитро и наивно подосланный ко мне будто бы от Трунова и Данилова. Данилов спасся, улетел, сбросив матроса со своего аэроплана... Где он теперь? Но Трунов погиб.

— Как? Когда? При каких обстоятельствах?

Кто мог рассказать мне об этом! Если б это было известно Лучкову, он, конечно, сообщил бы мне.

Ни в этот день, ни в последующие я не находил себе покоя. Трунов, его судьба, его смерть, его голова в банке тревожили, волновали, измучивали, не давали ни покоя, ни сна. Натянулись нервы, болела левая часть лба, колотилось и ныло сердце.

На третий день, после обеда, в камеру вошел комендант:

— Товарищ Брыкин, собирайте вещи!

Я равнодушно завязал мое скромное имущество в маленький сверток — две смены белья, приобретенного уже здесь, в чека, и без всякого страха, без волнения, покорно побрел с комендантом, понимая, что меня переводят в тюрьму.

Так и было.

Теперь я сидел в одиночной камере Крестов, огромной красной тюрьмы с взлетавшими и спадавшими железными узкими лестницами, крестообразными коридорами, гулким эхом, длинными площадками с выходящими на них камерами.

Я осмотрелся. Все то же! Кровать, привинченный столик, маленькая полка, в углу — то, что скрывают во всех домах, а в отелях обозначают № 00. Тяжелый воздух, пыль, дано не метенный пол — как все было печально, и один вопрос тотчас же вполз в мою душу:

— Надолго ли я здесь?

Единственное утешение сейчас я находил в том, что допросы кончились, возможность внезапного расстрела миновала, что я — один.

Окно камеры было высоко. Я стал на табуретку. Весенний день теплел под солнцем, и весело несла река свои темные, черные с золотом волны.

Хотелось жить. Никогда еще так страстно я не ощущал жажду свободы и не завидовал людям, двигавшимся маленькими точками в дали, так ясно видимой из моего тюремного окошка.

По утрам прилетали, били крыльями, садились на выступе зарешеченного окна воркующие голуби, и это было тоже грустно и трогательно и тоже напоминало о жизни, о воле, о каком-то погибшем счастье, далеком от этого красного здания, этой одиночной камеры, этого унылого порядка медленно уходящих часов.

Так миновал день, потом другой, проползла неделя. Ко всему можно привыкнуть, и я стал привыкать к моей тюрьме.

И вдруг неожиданно, без всяких предупреждений меня вызвали в приемную и объявили, что я свободен.

Поймете ли вы, сумею ль передать я, возможно ль вообще рассказать, и кто может почувствовать, какая пестрая, радостная вереница мыслей, смесь острых ощущений наполнила все мое существо, как сладко забилося сердце и затихла душа при одном этом слове:

— *Свобода!*

— Куда теперь?

Я шел, как пьяный, глядел по сторонам, улыбался встречным людям. На Литейном мосту я остановился, облокотился на перила и, онемелый от счастья, от охватившей меня радости, смотрел на выросшие у берега барки, на эту реку, на пропадавший голубовато-серый, бледнеющий горизонт, на милое небо. Так стоял я в этот весенний день, в эти первые минуты моей свободы.

Внезапно вспомнилась угроза Урицкого:

— Мы будем знать каждый ваш шаг...

Я оглянулся. Кругом меня не было никого. Я решил пойти к сестре.

Все еще боясь, что за мной следят, что кто-то должен идти за мной по пятам, наблюдая и ища, я запутывал след, выбирал то большие улицы, то замершие безлюдные переулки, останавливался на углах, закуривал папиросу, зорко осматривался и ждал своего преследователя. Нет, его не было.

Женя встретила меня молчаливо и спокойно. Ее поцелуй был холоден и чужд. Она осунулась и побледнела. В дорогих глазах я прочел мертвое равнодушие ко всему.

После первых незначащих слов, вопросов, коротких ответов я сказал:

— Ты мне не нравишься, Женя. У тебя какой-то приговоренный вид.

Она безнадежно махнула рукой:

— Все надоело... Не стоит жить.

Я хотел, пробовал, почти решался и не смел спросить ее о том, что ее мучило, произнести имя Варташевского, упрекнуть ее, раскрыть страшную истину, успокоить ее бедное девичье сердце, потому что ничем нельзя успокоить сердце, опечаленное любовью.

Двое суток я провел у сестры. Невеселы были наши беседы, такие скупые, осторожные и чужие! И между нами двумя стояла грозная тайна, и ни один из нас не осмеливался раскрыть другому ее простой и страшный смысл.

Не только чувствовал — я всем моим существом понимал, что Женя знает, кто убийца Варташевского. Знает и молчит. Я угадывал, что происходит в ее душе.

Женя рассуждала так:

— Ее брат, может быть, и прав с точки зрения своих политических интересов. И все-таки, даже если прав, он не должен был поднять руку на своего вчерашнего друга!

Да, да, именно так она про себя и говорила. Заметьте: я не смел убивать моего «друга», а не человека, которого она любила. Этого она не выговаривала даже самой себе. И отсюда возникли все наши недомолвки и эта скрытность и молчаливая, спрятавшаяся вражда.

Наконец я решил увидеть своих. Для этого надо было только зайти в Гвардейское экономическое общество и подняться наверх, в буфет. Так я и сделал.

Трофимов обнял меня и расцеловал.

— Очень, очень рад. Ну что? плохо было?

Я вкратце, бегло рассказал ему о главном, о всем, что слышал и пережил, и о мертвой голове Трунова.

— Его убили на финляндской границе, — ответил Трофимов. — Но давайте от воспоминаний перейдем к делу. Вы появились очень кстати. Вас прислала к нам сама судьба. Именно сейчас мы нуждаемся в таком человеке, как вы.

— В чем дело?

— А дело в том, что организация должна получить три с половиной миллиона золотых рублей..

— Получить? Откуда?

— Ну, если не получить, то... добыть... Эти деньги предназначены к перевозке в Москву. Они сейчас находятся в особом вагоне скорого поезда. Поезд стоит на путях Николаевского вокзала... Поняли?

Трофимов огляделся.

— Вот что... Почему-то мне кажется, что здесь нам говорить неудобно. Перейдем в номер... Знаете, где было наше первое собрание? Сделаем так: я пройду вперед, вы с полчаса посидите тут, посмотрите, не следят ли за вами. Буду вас ждать...

Я остался. За одним из дальних столиков сидели трое. Они живо о чем-то беседовали, не обращая на меня никакого внимания. Я сошел вниз, обогнул угол здания, еще раз осмотрелся. Опасности не было.

В запертом номере Трофимов мне объяснял:

— Прежде всего, я хочу вам напомнить о нашей общей клятве. Все, что я вам сейчас скажу, вы должны сохранить в полной тайне.

— Я не забываю клясть.

— Вам поручается разведка. Как можно скорей вы должны узнать, где стоит этот вагон, как он охраняется, сколько там людей и какой части... Затем вы должны установить, есть ли там бессменные представители власти. Кажется, там

все время дежурят банковский чиновник и комиссар из Смольного... Точно определите — далеко ли стоит вагон от выездных ворот Николаевского вокзала.

— Слушаюсь!

— Беретесь ?

— Берусь.

— Еще раз: осторожность и тайна! Я полагаюсь на вас. Когда вы думаете доставить сведения?

— К вечеру.

— Завтра явитесь на Пороховые, номер дома 16, в 7 часов утра. А сведения передадите мне здесь. Я буду ждать вас в этом номере.

Мы расстались.

XXV

Опасные дела

На прощанье Трофимов сказал, чтоб я зашел на Лиговку — дом № 47 — и там нашел Василия Арбузова. Это — его бывший унтер-офицер, георгиевский кавалер, тяжело раненый, теперь служивший на железной дороге. У него надо получить форменную одежду. Так я и сделал.

Я пошел по путям. В этом железнодорожном костюме я не обращал на себя ничьего внимания. Вагон сразу бросился в глаза. Только около него одного взад и вперед ходили два часовых. Запасные пути были пусты. Я сказал охраняющему красноармейцу:

— Вызови товарища разводящего!.. Скоро надо перецеплять вагон.

Разводящий провел меня внутрь. Там, действительно, были и чиновник и комиссар. Я сосчитал охрану. Она была невелика. В служебном отделении находились шесть солдат и караульный начальник. Задняя дверь была запечатана plombой. Моя разведка оказалась легкой. Ее я закончил

в несколько минут. В тот же день вечером Трофимов получил от меня все необходимые сведения.

Я отправился к Кириллу. Он лежал на диване, курил и тихо напевал полковой марш. Мне он очень обрадовался. Мы поцеловались, и, отступив на несколько шагов, он долго рассматривал меня радостными глазами, будто я появился в его квартире прямо с того света. А впрочем, ведь, это так и было. Уже раз мысленно ощутив и пережив всем моим существом, телом и душой смерть, я умер у стенки в подвале чека, и сколько раз за это время я стоял на узкой грани, отделявшей меня от вечного могильного мрака.

Кирилл все знал. С Лучковым у него были установлены правильные и постоянные сношения.

— Очень я беспокоился за тебя, — сказал Кирилл. — Сведения о тебе были неважные... Могли утробить. Прямо скажу: здорово тебе повезло!

Мой рассказ о голове Трунова необычайно возмутил Кирилла. Дрожа от негодования, он грозил:

— Ничего!.. Когда-нибудь на этажерке будут стоять две банки с головками Урицкого и этой девки... Яковлевой.

Рано утром кирилловский рысак нес меня за Охту, на Пороховые. Северное солнце всходило, но не грело. Было светло и холодно, и сильный конь бодро летел вперед, звонко цокая подковами по камням мостовой.

На повороте мы остановились. Я вылез. Кирилл завернул и шагом поехал обратно. Я стал отыскивать № 16, нашел и через двор, через узкое крыльцо, по лестнице поднялся вверх, пихнул дверь, и она отворилась с чуть слышным стоном.

Ни в первой, ни во второй, ни в третьей комнате не было никого. Я в недоумении остановился. Дом казался необитаемым. Тишина, закрытые ставни, густой полумрак, скрипящие под ногами половицы невольно заставляли чего-то остерегаться, ждать опасности, быть готовым к какой-то роковой внезапности.

Из средней комнаты тоже закрытая ставнями дверь со стеклами в своей верхней половине вела на веранду.

Я тихо отворил ее — и отступил.

Предо мной стояли, сбившись в утрюмую кучу, человек двадцать красноармейцев, а впереди них — комиссар со значком на груди и орденом Красного Знамени.

Мгновенным порывом я схватился за карман, где лежал револьвер, и быстрым движением вынул его. Еще один миг — и я стал бы стрелять.

Но тотчас же из этой небольшой толпы людей, притаившихся у правой стены веранды, раздался веселый смех. Красноармейцы хохотали, и лукаво улыбался комиссар. Я взглянул на них и рассмеялся сам.

Кто-то крикнул:

— Рано, товарищ, схватились за оружие. Немного попозже было бы полезней.

Я ответил шутливо:

— И на старуху бывает проруха.

Это были наши. Они окружили меня, и вопросы посыпались один за другим. В комиссаре я сразу узнал Рейнгардта. Его внимательные голубые глаза быстро смерили меня с головы до ног. Он увел меня с веранды в комнату.

— Кто вас прислал?

— Трофимов.

— Какие до этого получили поручения?

— Разведку на запасных путях Николаевского вокзала.

— Были внутри вагона?

— Был.

И я рассказал Рейнгардту все, что видел и узнал. Он остался доволен.

— Дело-то мы оборудуем, — задумчиво говорил он, — почти наверно. Штука нетрудная! Думаю, что не обойдется без жертв, но, может быть, все кончится и совсем благополучно. Красноармейские часовые не из храбрых. Какое они на вас произвели впечатление?

— Да никакого. Ходят около вагона, как нанятые удавленники. Да и остальные — такие же. Вот только караульный начальник, должно быть, — кадровый унтер-офицер... Тот — настоящий солдат.

— И это тоже не страшно. Самое трудное — уйти. Может подняться такой шум, что...

Мне захотелось узнать, кто участвует в этом рискованном, дерзком и опасном предприятии. Большинства я не знал. Но все были из нашей новой организации.

— Трофимовцы, — пояснил Рейнгардт.

Я сказал:

— Ведь, я только несколько дней, как выпущен из чека и Крестов. Мне решительно ничего не известно об организации. Скажите: это — ваша первая «операция»?

— О, нет. Были и до этого.

И он стал посвящать меня в дела и события. Отчаянный народ! Что натворили они за это время! Особенно врезался мне в память один эпизод:

— Видите ли, — рассказывал Рейнгардт, — это было даже как-то странно. В сущности, мы не имели даже определенного плана. Просто одному из нас взбрела мысль: «Айда, ребята, на картежников».

— Идет !

— Куда?

— В клуб.

— Какой ?

— Палас-театр.

И вшестером пошли, заперли швейцара, ворвались в зал:

— Руки вверх!

И все покорно, как малые ребята, подняли.

Наш приказывает им:

— Спокойствие! Смирно! Ни звука! Если хоть один из вас шелохнется — уложу на месте.

В зале — ни шороха. Слышно, как люди дышат. Этакое трусливое стадо — людишки!

Наш им опять:

— Сию же секунду вынимайте и кладите все деньги, все драгоценности и револьверы! Если кто-нибудь затаит — моментально к стенке!

Трое из наших берут подносы и с благосклонной улыбкой обходят присутствующих. Галантность сверхъестественная, вежливость необыкновенная! Отобрали все. Отвратительная подробность: по грязному ковру с вытарашенны-

ми глазами кто-то полз на четвереньках. Наши ему:

— Будьте любезны, встаньте на ноги: так передвигаться гораздо удобней.

Встал. Смотрит, но не понимает абсолютно ничего. Бел, как его манишка. Обыскали, а у него — какая-то тысяча керенок и дешевенькие часы. Было из-за чего дрожать и униженно ползать, тьфу!

Рейнгардт презрительно улыбается.

— Ну, молодец Кирилл, — продолжает он. — Выносил он нас на своем рысаке, как на крыльях. Недели три тому назад мне указали на одну квартиру... на Николаевской улице. Подкатили мы. Вхожу через черный ход. Из кухни — аппетитный запах: пекут блины. «Ах, черти! Кругом — голод, а у этого толстобрюхого — масленица!» Врываюсь. У плиты — кухарка, а на табуретке в счастливом блаженстве восседает волосатый красноармеец. Кричу:

— Ни с места! Руки вверх!

Кухарка как заголосить — и все на одной высокой ноте:

— Ай-яй-яй-яй-яй!

— Молчать!

Она еще пуще.

Как не услышали ее визг на лестнице и у соседей, не понимаю до сих пор. Я на нее с револьвером — она бух на пол и давай кататься. Ну, что тут делать? Приказываю ее красноармейцу:

— Сейчас же прикажи ей замолчать. Не замолчит, уложу обоих.

Та сразу и стихла. Я им:

— Марш вперед!

Загнал в какую-то комнатенку и запер. Иду в кабинет. Мне уж было известно, что деньги — в среднем ящике письменного стола. Этот толстобрюхий скот спекулировал сообща с чека. Конечно, ящики заперты. Не раздумывать же! Схватил за угол верхней доски стола, изо всех сил дернул, и стол оказался открытым сверху. Не очень прочная мебель, — прибавил он иронически. — Забрал деньги, выбегаю на парадную лестницу и вижу, — о, человеческая

наивность! — швейцар расставил ручки: он, видите ли, желает меня не выпустить! Вынул револьвер, направил на него, и ручки сразу упали. Распахиваю парадную дверь — смотрю: у ворот гомонять бабы. Да ведь как! Ну, с ними разговор короток. Погрозил пальцем:

— Тссс! И они все попрятались сразу... Эх, подлое животное — человек, подлое и трусливое!

Рейнгардт взглянул на часы:

— Скоро пора и двигаться... Пойдемте вниз!.. Вам нужно переодеться.

Мы сошли. Я быстро пригнал себе красноармейскую форму. Рейнгардт мне вручил винтовку и пять обойм.

На веранде он отдал нам приказ:

— Выйдите отсюда по одиночке, разными путями... Сойдетесь на шоссе! На выезде построитесь вдвоенными рядами!

Солнце уже поднялось и золотило стекла окон, купола церквей, лужи мостовой.

Через Охтенский мост, через Пески, мы в ногу шли к Николаевскому вокзалу. Наш шаг был нетороплив.

Среди бела дня, в центре столицы, на глазах тысячи людей 25 человек готовили нападение на вагон с золотом, охраняемый стражей, часовыми, вооруженным чиновником, комиссаром из Смольного.

Я шагал в рядах, и мне было неясно только одно:

— Почему на такое страшное, опасное, безумное дело мы идем днем, а не ночью ?

XXVI

«Руки вверх!»

Огромная сила, непонятная и радостная, толкала наши ряды вперед на это безумное и страшное дело. Окруженные равнодушием одних, злобой других, презрением третьих, мы шли в этой красноармейской одежде под предводитель-

ством человека в ненавистной для всех форме, в кожаной желтой куртке с ярко красневшим орденом Красного Знамени на груди.

Мужчины, женщины, дети с голодными лицами тоскливо-умоляющим, испуганным взглядом провожали наше загадочное и уверенное шествие.

Пороховые остались далеко позади. Мелькнули Пески. Рейнгардт подвел нас к тихой улице, носящей имя «Полтавской победы». Путь шел вниз. Странная дорога! Ведь можно было пройти прямо.

— Взвод, стой!

Голос Рейнгардта:

— Смирно!

Пред нами — Трофимов:

— Сколько у вас винтовок?

— Одиннадцать.

— Н-да... Надо бы побольше.

Молчание. Трофимов обходит строй. Всматривается в лица. На ходу быстро жмет руку. Задает отдельные вопросы:

— Гардемарин?

— Есть.

Так вот о какой организации он говорил мне в номере гостиницы нашего Экономического общества!

Трофимов отозвал меня и Рейнгардта в сторону:

— Сколько винтовок у вас на квартире?

— Тридцать две, — ответил Рейнгардт.

— Сейчас я отряд распушу. Но раньше я должен вам обоим сообщить, что произошли некоторые изменения. Последняя разведка принесла новые сведения. Во-первых, теперь вагон стоит на третьем пути. Вся охрана помещена в железнодорожной будке. Часовых по-прежнему — двое. Но посты их изменены: сегодня один часовой стоит у будки и другой — у вагона. Все это вы должны запомнить отчетливо.

— Слушаюсь.

Трофимов подошел к отряду. Он улыбнулся и начал:

— Товарищи!

И та же улыбка пробежала по всем лицам.

— Прошу вас сейчас разойтись. Весь сегодняшний день старайтесь быть незамеченными, нигде не собирайтесь вместе. Сюда, вот на это самое место, вы прибудете в 10 часов 30 минут вечера.

Он вынул часы:

— На моих без 10 минут час. Проверьте ваши часы!

Он оглядел отряд и бросил отрывисто и ласково:

— С Богом!

Втроем мы медленно шли и говорили о плане нападения. Трофимов был уверен, что все пройдет без осложнений, без крови и жертв. Рейнгардт держался другого мнения. И он полагал, что охрана не очень надежна, и красноармейцы не будут подставлять свой лоб и рисковать жизнью. Но Рейнгардта смущало другое: в вагоне находились чиновник и комиссар. Эти могли оказать сопротивление.

— Я не говорю, — объяснял он, — что это опасно. Я только предвижу возможность жертв. Впрочем, и это — пустяки. Лес рубят — щепки летят....

Рейнгардт обратился ко мне:

— А за винтовками придется съездить вам. Сам я должен сейчас отправиться по делам. Приходите ко мне в Манежный переулок. Там заберете недостающие винтовки и привезете их сюда. У моей квартиры вас будет ждать Кирилл.

Мы простились. Рейнгардт вскочил в трамвай, а я несколько минут стоял и внимательно следил за тем, как тихо и задумчиво шел к Николаевскому вокзалу Трофимов, опустив голову и глубоко засунув руки в карманы солдатской шинели без погон.

И в этой походке, как раньше в отдельных словах, взгляде глаз, ласковом хлопывании по плечу я улавливал, я чувствовал какое-то волнение за нас и нашу судьбу.

Я невольно улыбнулся:

— Милый, странный человек! Он думает о нас, как будто сам он застрахован от кровавых случайностей, от ареста и смерти.

В 10 часов вечера мы выносили с Кириллом винтовки и клали их в пролетку. Кирилл сел на козлы, и легкой рысцой мы покатали по Знаменской.

Вдруг кто-то схватил лошадь под уздцы. Мы остановились.

Пред нами стоял человек в красноармейской шинели, в папаше, заломленной совсем назад, а из-под нее выбивались пряди длинных волос. Я опустил руку в карман за револьвером.

— Куда везете оружие, товарищи? — спросил красноармеец.

— А вам какое дело?

— Если спрашиваю, значит, есть какое-то дело.

— Да вы сами-то кто такой?

— Я-то?

— Да, вы-то.

Я чувствовал, как во мне разгорается раздражение. В голове мелькнуло решение:

— Уложить на месте!

Красноармеец стоял, расставив ноги, и поглаживал вытянутой левой рукой круп лошади. Потом он пристально взглянул на Кирилла, на меня, приблизился ко мне вплотную, заулыбался и тихо произнес пароль:

— Сабля.

И, обрадованный, ему откликнулся я:

— Сердце!

Я сошел с пролетки, и мы пожали друг другу руки. Этот был тоже из нашей организации.

— Да, — сказал он, — там уже собираются.

— Почему вам вздумалось разыграть всю эту комедию?

— На всякий случай... Для проверки... Мало ли кто мог ехать с оружием. Да еще тут, поблизости от вокзала. Все может быть.

— Ну, если бы, действительно, ехали вместо нас настоящие красноармейцы, что бы вы могли сделать? Вы же — один...

— Ну, это... как вам сказать... Две-то пули может выпустить и один человек.

Темный вечер спустился на Петербург, и везде была тьма. Не видно было огней. Когда-то сверкавший электричеством вокзал бедно освещался немногими лампочками. Чрез Знаменскую площадь Кирилл промахнул во весь дух крупной рысью, и мы остановились на том же самом месте, в маленькой улочке близ церкви, построенной в древнерусском стиле.

Подошел Рейнгардт:

— Никто не заметил, как вы выносили винтовки?

— Никто. Да в такой час теперь никого на улице и быть не может.

— Квартиру заперли?

Я возвратил ему ключ. Потом Трофимов взял меня под руку, и мы прошли вперед:

— Вам придется первому пойти и завязать дело. Вы должны, во что бы то ни стало, проникнуть в помещение охраны и все подготовить так, чтоб нам было легко ее обезоружить.

— Понимаю.

Я направился к Николаевскому вокзалу, обогнул его и вошел в широкие ворота. Была пуста Знаменская площадь, пусто было около вокзала, и только несколько человек служащих торопливо проходили по этому большому каменному двору.

На третьем пути я увидел вагон-микст первого и второго класса. Около него тихо похаживал часовой. Я приблизился к нему и небрежно попросил:

— Товарищ, нет ли спички? Мне бы прикурить...

Часовой остановился и опустил винтовку к ноге:

— Спичек нет у меня, товарищ.

— Экая жалость!

Я протянул ему папиросу. Он взял и сказал :

— Спички-то можно достать. Вот спросите, товарищ, там — в сторожке. Это — наша же охрана.

Я прошел туда. Шесть человек солдат сидели, курили и разговаривали. Приткнутые, в углу стояли винтовки. Я наклонился к первому же красноармейцу охраны и начал прикуривать, все время стараясь продлить и выиграть время.

С секунды на секунду я ждал подхода остальных на помощь мне.

Наконец папироса зажглась. Я пустил густой клуб дыма и тотчас же услышал голоса наших, раздававшиеся за будкой. Сразу же остервенелым криком, как сумасшедший, я истуленно заорал:

— Руки вверх! Приказом чрезвычайной комиссии вы арестованы за небрежное несение караульной службы. Смирно! Ни с места!

Я выхватил револьвер и навел его на этих оторопелых и растерявшихся людей.

XXVII

Нападение

С поднятыми, вытянутыми руками передо мной покорно стояли эти пять человек, и в их глазах мелькал испуг. Но над человеческой душой властна внезапность, и ни шороха, ни шевеления — ничего не было, и, будто загипнотизированные грозным окриком, велениями чужой силы, эти люди были готовы повиноваться, как всегда до сих пор они повиновались только приказу своих начальников.

Все случилось неожиданно, быстро, все пролетело в один короткий миг.

Тишина в этой караульной будке... приближающиеся голоса... Я слышу недолгую борьбу... вскрик наружного часового... звяк винтовки... повелительный приказ:

— Молчать!

Входят трое. Быстрым, торопливым, энергичным движением они хватают стоящие в углу винтовки... Еще мгновение, и с треском и звоном их выбрасывают чрез проход на землю. Обезоруженного часового загоняют внутрь. С наведенными револьверами двое наших остаются на страже.

Рейнгартд торопливым шепотом мне приказывает:

— За мной!

Мы делаем несколько шагов. Он говорит:

— Бросайтесь на землю! Ползите!

И, будто плавая по неподвижной, окаменевшей воде, мы тащимся ползком под вагоны. Я поворачиваю свою голову и вижу, что то же самое проделывают еще двое.

У вагона «микст» — часовой. Он стоит, облокотившись на винтовку, и смотрит вдаль. Его силуэт неподвижен. Солдат задумался. Одним прыжком Рейнгардт около него. Он охватывает часового своей левой рукой и правой вырывает винтовку. Я вырастаю пред ним:

— Одно слово — и убью на месте! Разве так несут караульную службу? Ты арестован!

Солдат молчит. На этом месте нас четверо. Маленькому рыжему четвертому человеку Рейнгардт отдает приказание:

— Уведите подальше этого негодяя!

Мы стучимся в дверь вагона. Нам никто не отвечает. Мы поднимаем стук снова — напрасно! Рейнгардт переворачивает винтовку и изо всей силы бьет в дверь и стены. Вялый, полусонный голос спрашивает:

— Кого надо?

— Сию же секунду отворить! С ордером из чрезвычайной комиссии для обыска.

Тот же голос изнутри отвечает:

— Отворить никак невозможно.

— Не смей возражать!

Я стою около, я слышу этот спор. Эта минута мне кажется часом. Мое сердце стучит часто и отчетливо. Малейшее промедление—и мы погибнем.

Тогда Рейнгардт решительно кричит:

— В последний раз приказываю: отворить!

Оттуда раздается нерешительный протест:

— Да у нас у самих есть человек от чрезвычайной комиссии.

— Сейчас же будут взломаны двери, — не говорит, а рычит Рейнгардт.

Он с размаха еще раз ударяет в дверь.

Наконец, она открывается. Мы входим в вагон.

С папахой на затылке пред нами красноармеец, впустивший нас сюда. Его глаза мутны. Он, видимо, ничего не понимает. Ясно: после сна он еще не пришел в себя. От него пахнет водочным перегаром. Рейнгардт ему говорит:

— Ступай вперед! Покажи, где чиновники и где находится охрана.

Мы трогаемся по коридору. В купе первого класса спят двое пьяных. Это — банковский чиновник и представитель чека. На другом диване храпит начальник караула охраны. Мы энергично расталкиваем их. Рейнгардт приказывает мне:

— Встряхни их посильнее!

Все трое спускают ноги с диванов, озираются, захваченные внезапностью и не отдающие себе отчета в том, что происходит.

Мы не даем им сообразить.

— Вы арестованы за пьянство и небрежность! — объявляет Трофимов. — Извольте сейчас же выдать оружие.

Первый приходит в себя начальник караула. Он протестует:

— Оружия никак нельзя отдать. Потому что, как мы здесь занимаем караул, то...

Ему не удается докончить фразы. Сильным ударом в грудь я сваливаю его снова на диван и приставляю револьвер. Он не сопротивляется. Его помутневший взгляд смотрит выжидательно и покорно.

Через минуту они обезоружены.

В дверях купе мы оставляем двух наших. У одного из них Рейнгардт берет небольшой чемодан и передает его мне.

— Неси!

Чемодан легкий. Он пуст. Я иду вслед Рейнгардту. В эту минуту мы напомним путешественников, отыскивающих место в вагоне.

Мы проходим в другую половину, во второй класс «микста». Около купе — часовой. Оно запечатано белым картонным квадратом. На нем — сургучная печать банка.

Часовой отдает винтовку без сопротивления, без единого слова возражения. После ареста чиновников и караульного начальника он верит в наши полномочия.

Два объемистых рыжих кожаных баула стоят рядом на диване в углу. Нас ждет небольшое разочарование. Вместо золота баулы наполнены бумажными деньгами. Мы растягиваем мешки, захватываем пригоршни денег. Рейнгардт раздраженно замечает:

— Черт возьми... Все мелкие купюры... Давай чемодан!

Мы начинаем его наполнять. Наконец, набиваем до краев. Даже один баул еще не опорожнен до конца.

— Рассовывай по карманам!.. Прячь, куда попало — то-ропливо приказывает Рейнгардт.

Мы сразу разбухаем от денег. За пазуху, под шинель, в карманы брюк, за голенища, всюду, во все отверстия, во все свободные места мы напихиваем эти билеты, эти связки, эту тяжелую бумажную массу.

Будто в подхваченных одеждах, мы сразу полнеем.

Скомканные, изорванные, смятые, не имеющие счета, эти кредитные билеты как-то вдруг незаметно, без всякого участия нашего сознания теряют свое значение, ценность, смысл, и мы обращаемся с ними небрежно и презрительно, как с несостоящей, как со старой, ненужной газетной бумагой, разорванной на мелкие куски.

На минуту кажется, будто ради этих лоскутов, этогохлама, этих обрывков не стоило рисковать собой, составлять целый план, собираться, обсуждать, вооружаться, идти, арестовывать караул, чиновников, переживать эти нечеловеческие волнения, этот трепет и опасности.

На лице Рейнгардта играет победная улыбка. В ней светится самодовольство и насмешка. Захватив две огромных пригоршни денег, он швыряет их на диван.

Часовому он говорит:

— Это тебе... На расходы.

Тот мнется. Рейнгардт сует эти пачки ему в руки. Потом мы швыряем несколько связок в купе первого класса оторопевшим чиновникам и начальнику караула. Пачки падают, но чиновники не прикасаются.

— Что, страшно? — спрашиваю я.

Рейнгардт весело доканчивает:

— Ничего, возьмете... Пригодится.

Наши смеются.

Я опускаю в загнутые полы шинели денежные кучи. Их надо будет подарить солдатам охраны. Наконец, мы выходим.

У вагона Рейнгардт оставляет одного из наших. На прощанье он предупреждает:

— Вы все должны сидеть здесь, в вагоне! Ни звука, ни движения! Никому не сметь выходить! Ни один из вас не смеет подойти к окну! Я оставляю моих часовых. Малейшее нарушение, — и вы все будете мгновенно расстреляны!

В тишине, среди общего безмолвия, под покровом ночи быстрыми, торопящимися шагами мы направляемся к забору, отделяющему вокзальный участок от безлюдной, замершей Лиговки. Рейнгардт дает слабый, тонкий, короткий свисток. Это — сигнал для оставшихся. Он обозначает:

— Все окончено. Сошло благополучно. Спешите за нами!

И почти тотчас же мое ухо улавливает неслышный, спешный бег остальных.

Как белки, мы взлетаем на забор, перепрыгиваем. Кругом — никого. В нескольких шагах — силуэт лошади. Она фыркает, будто чуя нашу нервность, наш спех, наше волнение.

— Кирилл!

— Подаю!

Он лихо подкатывает.

Веселым голосом поздравляет:

— С удачей! Натерпелся я тут за вас.

Он натягивает вожжи. Мы наваливаем ему денежные пачки. Смеемся:

— Это тебе на чай... Что, брат Кирилл, — таких чаевых ни один лихач еще не получал? А?

Кирилл басит:

— Да что говорить... Господа, хоть куда!.. Других таких не найти.

Втроем — Трофимов, Рейнгардт и я — мчимся в черном безмолвии петербургской ночи.

Трофимов задумчиво качает головой, закуривает папиросу.

— Да... Сама судьба!

Мы молчим. Трофимов отдает приказание Кириллу:

— Вали на Ждановскую набережную!..

Я удивленно спрашиваю:

— Это еще куда?

Трофимов таинственно улыбается:

— Увидишь!

XXVIII

Таинственная квартира

Большая круглая луна струила голубоватый свет, мерцающим золотом горели звезды, и ночь была безмолвна, тиха и пустынна. Тяжким сном был объят испуганный город.

Мы лихо катили по его мостовым, и звонко цокали по камням копыта рысака. Кирилл свернул на Ждановку и остановился у высоких железных ворот. Трофимов вынул ключ и открыл калитку.

— Вот это и есть наша обитель, — сказал он.

— Собственный особняк? — спросил я.

— А то чей же?

Мы прошли через двор, поднялись во второй этаж. Трофимов вынул электрический фонарь и отпер дверь.

— Милости просим! Здесь можете располагаться, как у себя дома.

Он прибавил:

— В этих стенах вас никто не побеспокоит... За это могу ручаться.

Он осветил квартиру. Она представляла странный вид.

В углу беспорядочно, будто сваленные впопыхах, валялись ручные гранаты. В углу, между стеной и шкапом, приткнувшись штыками, стояли винтовки. На большой широкой оттоманке лежали две смятые подушки и скомканное одеяло, и это тоже производило такое впечатление, словно спавший человек был неожиданно, среди ночи, кем-то поднят и должен был уходить, бежать, не теряя ни минуты времени, на какое-то неотложное, важное и опасное дело.

Я обратил внимание на кусочек металла в банке:

— А это что ж такое?

Трофимов рассмеялся. Очевидно, с этим кусочком у него были связаны какие-то веселые воспоминания.

— А это... Это — радий!

Радий! Да, конечно, и я знал, что радий — драгоценность, но почему этот кусочек тут, зачем он нужен, как он сюда попал — все было непонятно и загадочно.

— Что же, вы занялись здесь опытами?

— Нет, нам этими делами заниматься некогда!.. А было так... Впрочем, пусть об этом расскажет он...

Трофимов кивнул на Рейнгардта. Тот пожал плечами:

— Тут нечего и рассказывать. Месяц тому назад мы слышали, что на Дворцовой набережной образовался клуб врачей. Говорили, будто его члены так сумели забронировать свой союз, что никто не смеет к ним приехать с обыском. Ну, и вот по сему случаю все, кто в Бога верил, потащили свои драгоценности в сей несгораемый шкаф. Сами понимаете, что мы порешили полюбопытствовать, что именно находится в шкапу. Приехали, шкаф отперли и... И — вообразите себе, — дверца открывается, а там стоит вот эта самая банка, а в ней — сей кусочек... Черт его знает, что за штука! Оказывается... радий!! Кто-то из наших говорит:

— Радий в высшей степени необходим для народа, и потому мы, представители рабоче-крестьянской власти, обязательно должны взять и радий и банку.

— Что же вы будете с ним делать?

— А это уж после увидим... Даром не залежится.

— Ну, я не держал бы его тут.

— Почему? — удивленно спросил Трофимов.

— А очень просто: ужасная улика. Вы подумайте: много ли радия во всем Петербурге? И как раз самое большое количество, пропавшее именно из клуба врачей, оказывается у вас.

Трофимов вскинул голову:

— Ну, и оказывается... Дальше что?

— А обыск?

— У кого же это обыск?

— Как у кого? У вас!..

— У на-а-ас? Да вы — шутите?

Я смотрел на него и ничего не понимал. Рейнгардт ухмылялся. Наконец он сказал:

— Нас голыми руками не возьмешь... Наколешься. Ну, да вы сами скоро в этом убедитесь... А вот что есть нечего, это плохо...

Трофимов прибавил:

— А ведь ты прав... Есть нечего. Гм...

Он сел верхом на повернутый венский стул и, обращаясь к нам, спросил с комической серьезностью :

— Ну, где же это, господа, видно, чтоб люди, обладающие такими огромными капиталами, как мы, — и вдруг ложились спать с пустым желудком?!

Рейнгардт пробурчал:

— Да еще после такой работы.

— Да, работа была недурна...

— А все-таки придется заснуть голодными.

Поразительно! После этих волнений, после этих часов безумного риска, этого налета на вагон, этих острых, напряженных переживаний я не испытывал ни тревог, ни трепета.

В этой таинственной квартире, среди двух других отчаянных и решительных людей я сразу ощутил сладкое и завидное успокоение. Никогда еще я не был так глубоко уверен в своей полной безопасности, как в эту ночь. И я заснул, как убитый.

...Все изменяет утренний свет. Когда я открыл глаза, осмотрел комнату, обвел взглядом ее странную, нежилую,

беспорядочную обстановку, мне показалось, что все мы здесь собрались случайно, ненадолго, чтоб потом искать нового убежища и нового, тоже временного жилья.

Все было обыкновенно и знакомо так, будто я уже бывал здесь много раз и провел под этой крышей, в этом доме не один день. Но был здесь предмет, поразивший меня, несмотря на всю свою незамысловатость.

В дальнем углу валялся полевой телефон с фоническим вызовом. Боже мой, сколько лет я держал его в руках на войне, сколько раз я слышал чрез него роковые и грозные приказы, ведущие меня на неизбежную, неминуемую смерть! Такой близкий, такой знакомый, такой привычный для меня аппарат!

Но здесь, в комнате, в городской обстановке, среди общей тишины этот телефон казался мне одновременно бессмыслицей, ненужностью и тайной.

Я подошел к нему, поднял, повертел в руках и в ту же минуту услышал за своей спиной голос Трофимова:

— Ни-ни-ни! Оставьте...

— В чем дело?

Трофимов загадочно и торжественно взглянул на меня:

— Ага, любопытно?

— Что ж тут любопытного... полевой телефон!..

Я улыбнулся.

— Полевой-то он полевой... Да только через него большевикам придется с нами жестоко повозиться.

— Ничего не понимаю.

— А видите ли... Это нас только сегодня здесь трое. Обычно мы тут живем всемером. Так вот, если бы вдруг на нас решили произвести чекистский налет, мы сумели бы некоторое время защищаться и отбиваться. Но дело-то в том, что стоит вам позвонить по этому телефону, и — готово: чрез десять минут наш резерв тут как тут. Чекисты на нас — наши на них.

— Резерв? Откуда?

— А это, дорогой мой, недалеко... Всего-навсего на Большом проспекте.

— Но ведь это же — сумасшествие! В Петербурге — по-

левой телефон! Да вы попадетесь завтра же.

— В том-то и дело, что не попадемся... Разве вы не видели, что такими телефонами связана чуть ли не половина города?..

— Не только не видел, но даже не смел предполагать.

— Не смел!.. Теперь, батенька, только и надо сметь. Вы увидите: у нас на днях будет собственный автомобиль. Да, да! Гараж есть! Деньги есть! А купить все можно.

— Да ведь все машины реквизированы...

Трофимов весело засвистел.

— Рейнгардт, ты слышишь?

Из другой комнаты раздался голос Рейнгардта.

— Да я вам через час куплю отличную машину и не где-нибудь в потайном сарае, а просто открыто из гаража в Смольном.

— Если даже вам это и удастся, — предостерег я, — она у вас будет завтра же реквизирована...

— У нас?.. Вот тут-то и начинается... В этом-то вся и штука.

— Да говорите ж толком.

Гимнастируя двумя винтовками, подбрасывая, ловя и перевертывая, составив ноги в каблуках, как всегда в строю, глядя мне в глаза, вышедший из комнаты, умытый, весь какой-то свежий, с выпяченной грудью, спокойный и уверенный Рейнгардт мне объяснял:

— Да, мы купим машину... Да, ее реквизируют... Но эту машину у нас реквизирует Рейнгардт... Реквизирую я сам.

Я слушал и не понимал ничего.

— Удивительно? — спросил он, поднимая на вытянутых руках обе винтовки за штыки вверх.

— Очень.

— Ну, так дело вот в чем... Это должен знать, наконец, и капитан Михаил Зверев.

И я напрягся, обратившись весь в слух, внимая не исповеди человека, а новому приказу организации.

XXIX

Новый план

Я слушал Рейнгардта, я следил за его резкими движениями, за его крупными жестами. Казалось, он ими кого-то невидимо рубил. Его слова были отрывисты. В них дышало убеждение человека, простившегося со всем и готового на все.

Глаза его вспыхивали, долго горели, но не гасли, а только успокаивались, как успокаивается жестокая сила, добившаяся своей победы, как крупный зверь, растерзавший врага.

Рейнгардт объяснял:

— Я знаю: вы думаете, что я — мечтатель или помешанный. Я никогда не был ни тем, ни другим. С самого моего детства я презираю первых и брезгливо сожалею вторых. Я только здоров, нормален и силен. Да, только!.. Мне нужно дело!.. И я знаю, что в этой новой борьбе, в этой последней схватке с большевиками выиграем мы, а не они...

Его тон покорял. Его уверенность в себе захватывала, влекла и подчиняла. Ему не хотелось возражать, потому что в каждом из нас живет неистребимая и прекрасная потребность веры.

Но что-то неслышное, неопределимое, неуловимое шевелилось в моей душе — какое-то боязливое и молчаливое сомнение, то особенное сомнение, которое рождается из боязни, что не все может случиться так, как хочется.

Да, мое сомнение в эту минуту было самой пламенной и самой искренней мольбой:

— О, если б все случилось так, как хочет этот человек, если б все произошло по его кипящей и непобедимой воле!

Наклонив голову, мерно, в такт постукивая кулаком по столу, Рейнгардт развивал план организации:

— Я знаю, вас смутит и то, что он прост, и то, что он сложен.

— Может быть. Но, во всяком случае, я хочу верить, а не спорить.

— Знаю.

— И мой долг я исполню до конца.

— Только потому я с вами и говорю... Так вот, запомните: с этого дня мы начинаем нашу последнюю игру. Мы ставим страшную ставку!

— То есть?

— Мы надеваем на всю организацию маску. Все — в масках!..

Мое сердце сжалось испуганно, радостно и тревожно.

Я ли не знал этого существования под шапкой-невидимкой, которую каждую минуту случайность могла сбросить с плеч вместе с рискующей головой! О, как знаком, страшен, близок и чужд был мне этот вольный и невольный маскарад!

Но там под маской ходили отдельные люди. Теперь на это шла целая организация.

— Не рискованно ли? Как осуществить этот план? Где найти это разнообразие изобретательности?

Рейнгардт продолжал:

— В мире нет ничего невозможного. Все достижимо! Надо только уметь рисковать! Кучка большевиков оседлала Россию, а мы... Мы — не кучка! Мы — армия. С нами — все офицерство страны. И мы сейчас — единственная сила.

Я перебил его:

— Но мы не объединены... Мы все расползлись...

— Сполземся... В нужный час объединимся все.

— Когда?

— Скоро!.. Надо только начать...

— Как?

— Надо...

Рейнгардт остановился. Его внимательные, властные, гипнотизирующие глаза впились в меня, приказывая, испытывая, будто вновь сомневаясь во мне и разгадывая мою душу.

— Надо идти... всем без изъятия... на службу к большевикам!

— Всем?

— Да! Всем нам, испытанным членам нашего священного союза.

— Куда же?

— Вопрос умен. Я отвечу вам точно. Но раньше задам тоже вопрос: известно ли вам, что Подвойский уже был у Троцкого?

— Мне об этом вскользь говорил Кирилл...

— Ага... Но тогда мы еще не знали результатов. Теперь я вам могу сказать, что Троцкий согласился...

— На что? На то, чтоб мы заняли офицерские места в его красной армии?

Мой вопрос прозвучал иронически. Рейнгардт это слышал.

— Нет, не то. Стать на взводе, даже получить роту или батальон — не штука. Нет, дело шире, существенней и важней.

И торжественным голосом он закончил:

— Вам разрешено создать военные Особые отделы. Понимаете?

— Не совсем.

— Так вот, вообразите. Мы получаем все права военной разведки и контр-разведки. Вы знаете, что это значит? Это значит, мы создаем военные чека. Попробуй тогда — обыщи нас, уличи или арестуй! Мы сами всякого арестуем...

Из соседней комнаты быстро вошел Трофимов, взял меня ласково сзади за плечи и встряхнул.

— Я dokonчу вам за него, — сказал он.

Я повернул к нему голову.

— Начальником петроградского Особого отдела назначается... Кто? Как вы думаете, дорогой капитан?

И, не дав мне выговорить слова, Трофимов весело бросил:

— Он!

Рейнгардт спокойно ответил:

— Да, я! И вот мой план. При каждой армии мы создаем военную разведку, но также еще и подрывные минные дивизионы.

Он взглянул на Трофимова. Тот кивнул ему головой, и по этому маленькому, незаметному движению я понял, как этот страшный, жестокий, не знающий пощады человек глубоко, сильно и верующе любит Рейнгардта.

А Рейнгардт продолжал:

— Всюду ввожу своих. На всех командных должностях — мы. Для всех ответственных поручений — наши. А кадр...

Рейнгардт встал, засунул руки глубоко в карманы, прошелся по комнате и прямо, в упор, отчетливо произнес:

— Небесная империя!

— Китайцы? — догадался я.

— Да. Только они. Ни одного русского! Во всем аппарате понимаем одни только мы, мы — мозг и воля. Исполнителями должны быть желтолицые идола: «Убивай!» — убивает; «Наступай!» — наступает. Великолепный материал! Но русских — нет! В такое дело русских не пушу, потому что мне нужно именно дело, а не митинг и не партии.

Он нервно заходил по комнате. Трофимов сидел в углу оттоманки и спокойно и удовлетворенно попыхивал трубкой.

— А расскажи, как ты собираешься у нас реквизировать машину, которой, кстати, у нас нет.

Я попросил Рейнгардта:

— Расскажите!..

— Да очень просто. Во-первых, я еду в гараж Смольного и просто покупаю машину. Разумеется, лучшую... Эх, жаль, — лучшую-то машину, манташевский Ройль-Ройс, забрал себе этот гусь Володарский. Но ничего. Отдаю ее, конечно, сюда. Получаю документ: «От реквизиции свободна»... Ну, а если мы увидим, что реквизиция все-таки угрожает — очень просто: я, как начальник петроградского Особого отдела, сам же первый ее и реквизирую...

Трофимов перебил его:

— Нет, батенька, у нас никто ее, кроме тебя, не посмеет даже тронуть за ступеньку, а не то что...

Он быстро поднялся, подошел к полемому телефону, поднял трубку.

Я с недоумением смотрел на него, на Рейнгардта, на те-

лефон.

Трофимов обернулся ко мне:

— Сейчас увидите.

В трубку он произнес одно слово:

— Бегом!

Он подал ключ Рейнгардту:

— Открой ворота.

— Смотрите на часы! — сказал он.

Шутя я спросил:

— Почему вы меня в ту ночь, когда мы напали на вагон, называли на «ты» — теперь на «вы»?

Трофимов ответил:

— Там была служба... А впрочем, да будет навсегда между нами верное, товарищеское «ты».

Мы поцеловались.

И в ту же минуту с винтовками наперевес, с ручными гранатами в комнату ворвались возбужденные, запыхавшиеся люди.

Вся квартира наполнилась стуком, грохотом, криками.

— Где? Ложись! Руки вверх! Смирно!

Закинув руки назад, опустив голову, с выражением глубокого удовлетворения на спокойном лице, торжественный и гордый Трофимов стоял в углу.

Ворвавшиеся люди сразу остановились.

— Молодцы! — бросил Трофимов.

И в ответ на эту похвалу по комнате громко пронеслось молодое и звонкое:

— Рады стараться!

Трофимов обошел этих юных, преданных друзей, этих верных членов нашей организации, пожимая каждому руку, и во всем — в выражении счастья на их лицах, в этих стройных фигурах, в этих сильных телах — я прочел еще раз готовность умереть и самое великое счастье человека пожертвовать собой и жить смело.

Они ушли, и вся душа моя наполнилась тоже бодростью, молодостью и счастьем.

— С такими не пропадем, — сказал Трофимов, протягивая мне руку, и эту руку я пожал, как друг, солдат и брат.

— Да, мы не пропадем, — повторил я со всей силой моей веры.

Трофимов задержал мою руку в своей.

— Но кровь еще прольется, — сказал он. — И много крови!..

XXX

Встреча

Это была странная встреча, это был непостижимый день, это был ласковый вечер, это была страшная ночь.

Змеиная подозрительность, ошеломление, потрясенный дух, раскаяние и жалость, заплакавшее сердце, разбуженные воспоминания, огонь крови, стыд и ужас слились, сплелись, закружились, раскрыли черную бездну тоски, любви, безнадежности и прощения.

В то утро я шел по Разъезжей, направляясь к Пяти Углам. Я ни о чем не думал. Машинально несли меня ноги, и настроение было безразличное, будто каждую минуту я выходил из одной пустоты и входил в другую.

Опустив голову, закинув руки назад, я шагал по серым камням тротуара. Странно! Я не испытывал никаких опасений, не нес внутри себя никакого страха, я не ждал ничего нового и не предвидел никаких потрясений.

Все казалось ровным, гладким, умершим или умирающим.

Одна-единственная мысль, сосредоточенная и властная, захватила меня всего, и она была тоже об одном: о судьбе нашего дела, опасностях, окружавших организацию, риске этого предприятия и о будущем России.

Но личная жизнь казалась конченной. Ни любви, ни женщин, ни теплоты домашнего уюта я давно не знал, их не было — их не будет! Мое одиночество было холодно, мужественно и сурово.

— Что ж, — говорил я сам себе, — это монашество на миру имеет свою красоту, как тихий подвиг, как отрешение от жизни и ее соблазнов.

Думал ли я тогда, смел ли предполагать, мог ли вообразить, что мой покой, мое безразличие будут сломлены и развеяны так внезапно, неожиданно и молниеносно!

Я вздрогнул. Женские руки мягко и ласково опустились на мою руку, знакомый звонкий голос быстро заговорил:

— Не прогоняйте меня! Я так хотела вас видеть. Я искала вас. Мне вы нужны, как мое последнее избавление... В моем сердце к вам нет никакой злобы. Я все поняла, все простила и забыла.

Я невольно отшатнулся... Мария Диаман !

Она стояла предо мной, все так же в черном, два брильянта сверкали и переливались в ее маленьких ушах. Слегка похудевшее, чуть-чуть побледневшее лицо было по-прежнему красиво — только теперь его черты стали еще тоньше.

— Не уходите от меня!.. Я ничего не прошу у вас... Мне нужно, чтоб вы меня выслушали... Больше ничего!.. Я измучена, я устала и истерзана.

На минуту я растерялся. Я чувствовал, как борюсь с моей нерешительностью. Эта встреча застала меня врасплох.

— Я не понимаю, что вам нужно от меня. Зачем вы меня искали? Между нами — пропасть! Между нами стоит кровавый призрак...

— Никакого призрака!.. Поймите меня...

Мы шли рядом. Не мог же я бежать от этой женщины на улице, будто преследуемый и спасающийся... от чего?

Мария Диаман продолжала:

— Я хочу только одного часа беседы... Ничего другого ...

— Нам не о чем говорить.

— Я нуждаюсь в ваших советах.

— Моих? Советах?

— Да, да... Именно в ваших! Никто другой мне не может помочь...

— Но в чем?

— Ах, как неудобно обо всем этом рассказывать на улице... Но пусть... Я хочу уйти...

— Куда?

— Уйти совсем... Перейти границу... Я совершенно изнемогла...

— Что же вы от меня хотите?

— Указаний... Вы один можете мне посоветовать, как бежать...

— Куда?

— В Финляндию!..

На минуту в моем мозгу вспыхнуло злое подозрение:

— Ловушка!.. Она хочет узнать сеть наших агентов.

Мысль зажглась и погасла.

Не смешно ли? Чего я испугался? Какая сеть? Где наши агенты? Все давно разрушено и погребено.

Ее голос звучал искренне и грустно. В нем слышалась боль. Я взглянул на Марию Диаман. Предо мной была загнанная, растерявшаяся, умоляющая женщина:

— Вы не можете себе представить, как все мне надоело... Эта грязь... Эта грубость... Эти наглые люди... Эта охота за мной... Эти гнусные предложения... О о-о! если б вы все знали!.. Помогите!..

Я почувствовал, что уступаю. Такой мольбе нельзя отказать. Когда женщина просит ее спасти, разве можно оттолкнуть?

Я сразу представил себе, как ее преследуют, оскорбляют, как она беззащитна и слаба.

Я сказал:

— Мне хочется быть с вами откровенным до конца... Даже теперь, после всего, что произошло, мы можем с вами говорить прямо, точно и честно. Вы понимаете, как вы виноваты...

— Да, конечно... Все-таки не так, как вы думаете... Я совсем — не зверь, я — не предательница... И уж, конечно, я не за них... Даю вам честное слово: я с вами искренна. Я хочу бежать из этого ада... Клянусь вам, это — не простые слова.

— Вы идете на рискованное дело... Это не так легко.

— Я знаю.
— Вы можете кончить очень плохо.
— Пусть!..
— Вас могут поймать на границе, и тогда...
— Все равно.
— Вас могут убить.
— Я ничего не боюсь... Мне все надоело... Лучше смерть, чем такая жизнь. Я разбита.

— Но что ж я вам могу посоветовать?
— Я не знаю... Скажите, где перейти, как добраться... Вам это известно лучше, чем кому-нибудь... Вы переходили границу...

— Да... конечно... но все это было...
— Ради Бога, ради всего, что есть для вас святого в жизни, научите!

Я остановился. Остановилась и она.
Мы были на Троицкой. Пред нами, напротив, высился дом гр. Толстого. Кажется, это — № 15.

— Ну что ж, хорошо... Но где же мне вам все это объяснять? Ведь не на улице же.

— Где хотите... Как вы скажете, так и будет.
Я стоял и думал: куда идти? Мария Диаман равнодушно шептала:

— Как хотите, куда хотите... Как скажете, так и будет.
Я быстро соображал:

— К Кириллу? Невозможно! Этот вытолкнет, а может быть, и убьет... Не к Трофимову же... Не хватало этого!

— К Жене?
К Жене! Но она встретит меня, как врага, неприступная в своем холодном презрении к убийце любимого человека. Да, любимого, в этом у меня не было теперь никаких сомнений.

— Но куда же?
Будто угадав мои мысли, эту причину моей растерянности, Мария Диаман робко предложила:

— Может быть, ко мне?
— К ва-ам? Но вы шутите.

— Нет, я не шучу... Вам нечего бояться... Во-первых, за мной никто не следит. Во-вторых, прежнего швейцара нет. Вас никто не знает. Мы пройдем в полной безопасности... Поверьте мне.

Я пожал плечами. Не все ли равно? Кроме того, если я поверил ее искренности, — а в эту минуту я верил, — то почему я должен ждать западни у нее на квартире? Ведь она сама предлагает назначить место по моему собственному выбору.

И я все-таки захотел ее испытать.

— Хорошо, пойдемте, я знаю одно место... Там мы поговорим.

Я пошел чрез проходные ворота толстовского дома. Они выводили на Фонтанку. Мария Диаман безропотно шла за мной.

На набережной я заявил:

— Хорошо, к вам!

Тем же спокойным, совсем безразличным тоном она ответила:

— Ко мне так ко мне.

Мы подошли к дому, где она жила. Боже мой, как все это памятно, как знакомо, как тяжело!

Отворили дверь — вот он, этот вестибюль, через который я вышел тогда, в тот снежный день, и дерзко минул часового.

Вот лестница — по ней я спускался вместе с Феофилактом, вдруг откуда-то взявшимся, явившимся предо мной, как видение, возникшее в больном мозгу. И его тоже нет!

Вот лифт — под ним я скрывался столько часов, и рядом — дверь в швейцарскую. И все эти предметы, стены, ступени, машина — немые свидетели пережитых ужасов человека, вновь вошедшего сюда, в этот дом.

Что привело меня сюда?

Только ли одно милосердие?

Слегка, благодарно пожимая мой локоть, Мария Диаман тихо проговорила:

— Как я счастлива!.. Как я рада, что вы мне поверили... Рада, как девочка...

И она еще крепче пожала мою руку.
Мы поднялись по лестнице и вошли в ее квартиру.
Я взглянул на ее лицо. Оно порозовело. Мария Диаман казалась взволнованной и счастливой.

XXXI

У Марии Диаман

Женщина прекрасна, когда она одинока, и покинутость ее всегда трогательна. На балу, в толпе, среди людей, на шуме мы можем любоваться женщиной, но любим только в четырех стенах, одну — отдать свое сердце можно только затворнице.

В этой квартире, в этих комнатах сейчас я испытывал беспокойную жуть, темную тревогу и тоску.

Все меняется! Тогда на этом темно-синем бархатном диване предо мной сидела чужая, злая заговорщица, обманувшая меня Мария Диаман, сильная своей ловкостью и опасная в своем слепом предательстве.

Теперь на меня смотрели испуганные глаза, я слышал робкий, просящий голос, я ощущал биение огорченного сердца.

А она, спеша, суетясь, но с ясным, успокоенным взглядом распоряжалась, обслуживала, приносила и ставила предо мной на стол чай, варенье, коньяк.

— После той ночи я все здесь переставила, чтоб ничего мне не напоминало о нем... Как все это было тяжело и кошмарно!.. Я выбросила даже его пепельницы...

Мы сидели друг против друга, было тихо в квартире, дремали в вазе ветки лиловой сирени, и к этому аромату примешивался какой-то другой — неприятный, о чем-то напоминавший запах. Я узнал его. Это были духи Марии Диаман, разбудившие когда-то мой гнев и последнюю решимость, — тогда, ночью, на квартире Варташевского в Новой Деревне, когда я приехал к нему, чтобы увести его

на казнь.

И эти колющие воспоминания, эта бессильная ревность к прошлому женщины, сидящей предо мной, образ убитого Варташевского, предателя и поверженного соперника, волновали, не давали покоя, не позволяли сосредоточиться и слушать.

Неторопливо, будто наедине с самой собой, Мария Диаман говорила о своей жизни, о своем прошлом, о своих маленьких, последних надеждах:

— Он мне был чужд... У нас ничего не было общего. Я не люблю эгоистов... Если вы хоть сколько-нибудь сумели меня разгадать, вы должны были заметить, что я очень, я необыкновенно добра... И я никогда не думала о будущем...

Я не мог удержаться от улыбки. Это была правда! Да, эта женщина никогда не думала не только о будущем — она не думала даже о себе... Трудно понять, как она стала знаменитой певицей.

— Вы улыбаетесь? Вы не верите? — спросила она испуганно, мягко беря меня за руку.

— Нет, верю... Но этого мало: я еще и хорошо знаю вас.

— Что вы хотите сказать?

— То, что вы вообще никого не любили... Вы любите только жизнь... ничего больше.

Она откинулась на спинку дивана и, глядя куда-то вдаль своими большими, черными, сейчас расширенными глазами, словно впервые разбираясь в своей душе, медленно произнесла:

— Да... пожалуй... А ведь и в самом деле, я никого не любила... Как вы верно сказали !

День гас. Мария Диаман встала и опустила шторы.

— У меня какое-то скверное предчувствие...

— Отчего?

— Не знаю. А, да все равно! Давайте выпьем вина...

Она принесла бутылку Шамбертена, звонко раскупорила, налила в стаканы.

— Выпьем за мое полное прощение!

Я протянул мой стакан. Мы чокнулись, и она залпом выпила вино.

Неслышно, незаметно, странно мое сердце наполнилось тоже предчувствиями надвигающегося ужаса, чьей-то гибели и смерти.

И в ту же минуту предательская жалость к этой женщине тихо и сладко охватила мою душу. Никогда еще во всю мою жизнь я не испытывал такого страстного и победного желания спасти и помочь, как в этот вечереющий час, полный неожиданности, неясных томлений и необъяснимого раскаяния.

И вдруг мой слух уловил негромкие, сдерживаемые рыдания. Мария Диаман плакала.

И тогда, внезапно потеряв в волю над собой, я опустился на колени перед этой несчастной женщиной, готовый утешить ее, как побитого и униженного ребенка.

Не знаю, не помню, не сознаю, как все это случилось, что сплело нас в этот страшный, огненный миг, соединивший в себе страсть, тоску, нежность, жестокость отмищения кому-то невидимому и ушедшему.

Порыв прошел.

Глядя мои волосы, Мари говорила мне о том, как она измучена, как ей жутко и пустынно жить, как до сих пор она чувствует, будто пощечину, эту пачку денег, брошенную мной в лицо ей, лежащей на полу в квартире Варташевского после его убийства.

— От этого оскорбления у меня лицо горит до сих пор... Как ты был неправ и жесток! Как ты мог, как ты смел! Скажи: неужели и эту минуту тебе не было стыдно? Неужели ты не вспомнил тогда тот вечер в «Пале-Рояле», когда я отдалась тебе?

Я молчал. Что мог сказать я ей?

— Ну, отвечай же!

И я решил:

— Но пойми же и меня. Я шел к тебе тогда, чтобы убить. Ты предала лучших, ты...

Она вскочила, как раненый зверь.

Застегивая вырез платья, пятась от меня, как от нападающего врага, почти крича, гневно и упрямо, как восставшая гордость, она твердила, торопя и кружа слова:

— Я? Я — предательница? Я — предавала? Кого? Когда? Кому? О-о-о, какая низость! Какая клевета!

Она переплела пальцы рук, подняла их над головой и, потрясая этими руками, дрожа, топая ногами, кричала:

— Никогда, ни одного человека, ни за какие деньги, ни за какие соблазны...

Потом сразу села, опустилась и, вся беспомощная и поникшая, устало заговорила:

— Если я виновата, то только в том, что никогда не спрашивала Константина, откуда он достает деньги. А-а-а, конечно, он доставал их для меня, а я брала и распхыривала... Угарные дни!.. Да, в этом мой грех и мое преступление... но сама я — нет! Да и что я могла рассказать!

Потом мы сидели с ней за письменным столом, она положила свою голову на мою левую руку, а правой я чертил план границы, и за каждым штрихом, за каждым изгибом линий она следила внимательно, как любознательный и покорный ребенок.

Мы простились утром после этой промчавшейся ночи, после горячих ласк, после снов, похожих на солнечную явь, и яви радостной, как самые счастливые сны.

В легком утреннем капоте, успокоенная, счастливая и утомленная, проводив до двери, она поцеловала меня в губы, в глаза и в лоб, потом медленно наклонила мою голову и спокойно и медленно перекрестила.

— Будь счастлив, — прошептала она.

И тихо попросила:

— Перекрести меня!

Я перекрестил.

— Мы больше не увидимся с тобой, — сказала она уверенно...

И мое сердце сжалось болью, стыдом, предчувствием и любовью.

«Прощай!..»

Не лгали звоны сердца, не обманули предчувствия, приговоренным людям дано ясновидение.

Мария Диаман погибла.

В этой страшной жизни она нашла свой страшный конец. Мне об этом рассказал маленький Лучков.

— Ее поймали на самой границе, — повествовал он сокрушенно. — Еще каких-нибудь пять минут — и она перешла бы...

С негодованием он объяснял:

— Ее подстрелили... Рана была легкая — в ногу. Через неделю она зажила. И вот тут-то началось. Диаман мучили, пытали, допрашивали, наконец, изнасиловали и убили.

У меня остановилось сердце. Я схватился за голову.

Первым порывом было пойти и разрядить барабан револьвера, изрешетить негодяев...

Но — каких? Где найти их? У меня опустились руки. Как пьяный или больной, шел я на Ждановку к Трофимову и Рейнгардту.

Трофимов удивился:

— На тебе лица нет... Что случилось?

Я махнул рукой, лег на оттоманку, тысячи мыслей пролетели в моей голове, и тоска, сосущая, жалобно ноющая тоска наполнила мое существо.

Во всем я винил себя.

— Зачем я дал ей план? Почему не удержал? Как мог не уговорить?

Это сознание угнетало. Хотелось рыдать, куда-то рвалась душа — в безнадежном желании что-то поправить и искупить. Но исцеления не было.

С пугающей ясностью еще раз я ощутил, как все кругом меня пустеет больше и больше. Я закрывал глаза, и мне чудилась кровь, я обонял ее запах. Казалось, она подступает все выше и выше. Вставали и пропадали окровавлен-

ные лица, изуродованные тела, разmozженные головы друзей, соратников, близких и эта поруганная, истерзанная, убитая женщина.

— Была ли она виновата?

Я отвечал себе:

— Нет!

И это было еще мучительней. В памяти вставало последнее свидание, эти сутки, проведенные у нее на квартире, ее ласки и мольбы и то, как мы в последний раз перекрестили друг друга.

Я потерял сон.

Трофимов успокаивал меня:

— Возьми себя в руки.

Отеческим тоном убеждал:

— Знаю, трудно. Всем нам нелегко. Но подожди.

Потом, будто опомнившись, сурово бурчал:

— А, впрочем, черт его знает, что и как будет...

Наконец, он не выдержал.

Однажды утром он сел ко мне на кровать и решительным тоном сказал:

— Уходи!..

— Куда?

— Тебе здесь вредно. А нам все равно нужен свой человек в Финляндии. Необходимо связаться.

Я недоумевающе смотрел на него. Он объяснял:

— Там что-то делается. Наши и там не дремлют. Но вот уже месяца два, как мы не имеем оттуда решительно никаких точных сведений. Связи потеряны, но гельсингфорская и Выборгская организации, кажется, целы. Вот эту-то связь тебе и придется наладить... Ведь знакомства остались.

— Да.

Действительно, Трофимов был прав. В крайнем случае я мог найти хотя бы одного Епанчина.

— А денег мы тебе дадим... Ступай и работай! Главное, возьми себя в руки.

— Жаль бросать дело здесь.

— Понимаю. Но большую часть организации придется отослать.

— Как так? Куда?

Трофимов задумался. Потом неохотно, сквозь зубы, пояснил:

— Часть — в Москву... Часть — в Ярославль.

Увидев мое изумленное лицо, он закончил:

— Готовим большое дело... Ну, а пока об этом лучше помолчать. Вот для этого-то ты нам и нужен. Если сумеешь разыскать пути и свяжешься с нужными людьми — большую услугу окажешь. Но помни: осторожность, молчание и тайна.

И я решился.

Как непосильная тяжесть пережитого, мрачной цепью воспоминаний, ужасами и кровью меня давил Петербург — эти месяцы тюрем, допросы, гибели, смерти, мое подполье, эти бессонницы, полные кровавых видений и темных кошмаров.

...В конце недели, в пятницу, я простился с моими соратниками. Рейнгардт и Трофимов поцеловали меня, и я поехал без цели, без плана, покатился, будто оторванный, гонимый ветром лист

В воскресенье я перешел рубеж.

Россия осталась там, назади. Я был спасен. Так мне казалось в ту минуту. По ту сторону границы я оставлял мою молодость и любовь, мое прошлое, погибшую тайну и пролитую кровь, а впереди меня ждала неизвестность.

Но всем сердцем я чувствовал, что какая-то новая жизнь наступала для организации, и для меня тоже начиналась новая жизнь.

В необъяснимом порыве, со слезами, внезапно подступившими к горлу, я стал на колени. Я вынул револьвер из кобуры и выстрелил.

Нет, я не расстреливал мою Россию! Я расстреливал ее врагов, которых не мог победить и с которыми вел борьбу — вел, но и до конца моих дней буду вести эту войну, потому что еще жив я, и будет жива моя родина.

Потом я отбросил револьвер, поднялся и под встающим летним солнцем по росистой траве побрел на поиски новых дел, путей и испытаний, потому что и здесь меня ждали новая тайна и новая кровь.

О ПЕТРЕ ПИЛЬСКОМ И ЕГО РОМАНЕ

Петр Мосеевич Пильский родился 16 (28) января 1879 г. в Орле в семье офицера 144 Каширского полка Мосея Николаевича Пильского и Неонилы Михайловны Девиер, происходившей из французского графского рода.

В возрасте 10 лет Пильский поступил в 4-й Московский кадетский корпус, затем учился в Александровском военном училище. В 1895 г. был выпущен юнкером в 120-й пехотный Серпуховский полк, расквартированный в Минске. Здесь Пильский начал печататься в газете «Минский листок», где вел критический и публицистический отделы. В 1895 г. был произведен в офицеры. После закрытия «Минского листка» в 1897 г. вышел в отставку, переехал в Петербург, где начал сотрудничать в «Биржевых ведомостях». Как беллетрист дебютировал в 1902 г. в московской газете «Курьер», позднее объединил свою прозу в сборник «Рассказы» (СПб., 1907), выдержавший два издания.

В конце 1902 г. уехал в Баку, работал в газете «Каспий», затем заведовал редакцией газеты «Баку». В 1903 г. вернулся в Петербург. В апреле-мае 1904-1905 гг. дважды побывал под арестом; тираж его брошюры «Охранный шпионат» с резкой критикой деятельности охранки был конфискован.

К концу десятилетия Пильский выдвинулся в ряды известных литературных критиков, сотрудничал в многочисленных периодических изданиях («Наука и жизнь», «Перевал», «Весна», «Пробуждение», «Журнал для всех», «Образование», «Солнце России», «Биржевые ведомости», «Одесские новости», «Южная мысль», «Эпоха», «Волгарь», «Утро» и т.д.), вел богемный образ жизни.

В 1909 г. Пильский выпустил книгу «Проблема пола, половые авторы и половой герой» (СПб.). В 1910 г. уехал из Петербурга на юг, жил в Киеве и Одессе, где покровительствовал местным молодым поэтам, печатался в «Одесских новостях».

Во время Первой мировой войны был призван в армию, служил в артиллерии в чине капитана, командовал ротой, затем батальоном, был дважды ранен, потерял на войне брата. После тяжелого ранения в руку был демобилизован, вернулся в Петроград, возобновил литературную деятельность, сотрудничая в «Аргусе»,

«Журнале журналов», «Солнце России», «Театре и искусстве» и других периодических изданиях.

После февральской революции Пильский стал решительным противником большевиков. Совместно с А. Куприным редактировал в Петрограде газету «Свободная Россия» (май-июнь), выпустил сборник рассказов «Подруги» и расширенное издание «Охранного шпионата» (под названием «Охрана и провокация»), начал издавать сатирический журнал «Эшафот» (закрытый после 3-го номера).

В начале 1918 г. Пильский основал в Петрограде Первую все-российскую школу журналистики с трехмесячным курсом обучения, лекции в которой читали А. Блок, А. Куприн, Ф. Сологуб, А. Амфитеатров, В. Дорошевич, Ф. Зелинский, С. Венгеров, А. Волынский.

После публикации в газете «Петроградское эхо» ряда острых антибольшевистских фельетонов Пильский был заключен в военную тюрьму, дело было передано в Революционный трибунал. Выпущенный в конце мая 1918 г. из тюрьмы с подпиской о невыезде, Пильский бежал на юг, через Москву, Орел, Киев, Херсон и Одессу, переправившись через Днестр, добрался до Кишинева. В Кишиневе сотрудничал в местных газетах, в октябре 1921 года с румынским паспортом приехал в Латвию, где начал печататься в рижской газете «Сегодня». В ноябре 1922 г. переехал в Эстонию, сотрудничал в одновременно в «Сегодня» и газете «Последние известия» (Ревель), в которой за три с половиной года работы опубликовал около 500 статей, мемуаров, фельетонов, критических заметок и т. д. Пильский печатался также в эстонской газете «*Paevaleht*» («Ежедневная газета»), а его жена, актриса Е. Кузнецова, вошла в состав местной театральной труппы.

Переехав позднее в Ригу, Пильский стал постоянным сотрудником «Сегодня» и заведующим литературным отделом газеты; в общей сложности он опубликовал в «Сегодня» более 2000 рецензий, откликов, мемуарных очерков, статей, литературных обзоров и т.п. (многие были напечатаны под различными псевдонимами – биографы Пильского насчитывают их более 50).

В 1929 г. в Риге вышли мемуарно-критические книги Пильского «Роман с театром» и «Затуманившийся мир». В 1931-34 гг. Пильский руководил в Латвии курсами журналистики.

В мае 1940 г. Пильский пережил инсульт. В июле, после начала советской оккупации, в его доме был произведен обыск, изъят архив (считающийся погибшим), что ухудшило состояние

здоровья литератора. Пильский пролежал год в параличе и скончался 21 декабря 1941 г. после начала нацистской оккупации Латвии.

Еще в предисловии к «Рассказам» 1907 г. Пильский назвал свою книгу «надгробным камнем на могиле бывшего беллетриста». Однако в последующие годы он все же возвращался к беллетристике, и наиболее заметным из таких «возвращений» стал роман «Тайна и кровь», опубликованный в 1926 г. в «Последних известиях» и вышедший отдельным изданием в Риге в конце 1927 г. под псевдонимом «П. Хрущов».

Как справедливо указывают Ю. Абызов и Т. Исагулова, «тема переметчивости, предательства, доносительства, провокации вызывала у Пильского интерес еще с дореволюционных времен <...> На протяжении 20 лет он неоднократно писал в статьях о провокаторах, женщинах и ЧК, чекистах-литераторах, доносах, тайнах контрразведки, чекистах за границей и т.п.» (Русские писатели 1800-1917: Биографический словарь. Т. 4. М., 1999. С. 603).

Вместе с тем, нельзя не отнести роман к тому авантюрно-приключенческому и подчас фантастическому поджанру, что сложился в эмиграции как бы в противовес советской школе «красного Пинкертона» 1920-х гг. Поджанр этот можно назвать «белым Пинкертоном». Здесь часто наблюдалось то же сочетание идеологии и головокружительной авантюрной фабулы, но с противоположным знаком: если «красные» Пинкертоны боролись с недобитыми белогвардейцами и пронырливыми шпионами или организовывали коммунистическое подполье в странах капитализма, Пинкертоны «белые» сражались с безжалостными чекистами и коварными большевистскими агентами, наводнившими Европу.

Характерен для поджанра (во всяком случае, в советском варианте) прием мистификации с выстраиванием облика вымышленного автора, которым воспользовался и Пильский, приписав роман «П. Хрущову». В этой мистификации охотно принял участие друг и литературный соратник Пильского А. Куприн, невозмутимо утверждавший в предисловии: «П. Хрущова я не знаю, — встречал это имя в прибалтийских газетах». Действительно, под псевдонимом «П. Хрущов» (девичья фамилия бабушки автора по материнской линии — Хрущова) в газете «Сегодня» печатались некоторые материалы Пильского.

Загадочный «Хрущов» был личностью очень информированной. «В моем романе “Тайна и кровь” встречаются знакомые имена, проходят действительно существовавшие и существующие люди, но названы только те, кому уже не грозит никакой опас-

ности. Все другие выступают у меня под псевдонимом. Это тоже живые лица <...> Как раз то, что может показаться наиболее фантастическим, не выдуманно, а происходило на самом деле, — тем это удивительней и страшней» — сообщал он в авторском предисловии.

Четыре года спустя «Хрущов» писал:

«Сиднэй Рейли — интересная личность. У этого шпиона было много благородства, у него, авантюриста, были крупные задачи, исторические цели, красота рискованных замыслов. Всегда шпионаж живет уловками, ходит на цыпочках, отвергает мораль, крадется, а не шагает, надевает личину дружбы и точит шило, увлекает, продает, завытывая, предает, — бегаящие глаза, мышинное прогрызание препятствий, азарт и настороженность, нахрап и трусость. Это ум, вооруженный только ловкостью, душа торговца человеческим мясом. От шпионажа несет дурным запахом, о шпионах, по праву, говорят с безгливостью и презрением.

Но Сиднэем Рейли восхищались. Рассказы о нем полны преклонения перед величием подвига, отвагой рыцаря, неуклонностью фанатика. <...>

Тень Рейли шуршала, вставала около меня не однажды, — и тогда, когда я писал мой роман, «Тайна и кровь» <...> Как-то, около, где-то вблизи тень Рейли неслышно проплывала около меня, — проплывала неслышно, но имя было слышно, даже не одно, а три: Локхарт, Кроми и он, Сиднэй Рейли. В редакции «Эхо» его следов не найти. Их надо было искать в другом месте, — среди центральных лиц белого заговора. Иногда они собирались в армейском экономическом магазине, на Конюшенной, некоторые важнейшие совещания происходили на Конюшенной же, в номерах. И когда я писал мой роман, получал указания и справки, эти номера, совещания, заговорщики стали мне точно известными, а за всем этим неизменно стояла, то на свету, то в тени, сильная и крепкая фигура Сиднэя Рейли» (Хрущов П. Заговорщики. // Сегодня. 1931. №. 103, 14 апреля. С. 2).

Впрочем, фантазий, неувязок и откровенных нелепостей в романе немало, да и герой его, бывший армейский капитан и белогвардейский боевик Михаил Зверев, напоминает не авантюриста и шпиона Рейли, а частых в прозе 1900-х гг. революционеров-невротиков. Явственна и зависимость Зверева от рефлексирующих террористов и белых подпольщиков из романов Ропшина (Б. Савинкова) «Конь бледный» (1913) и «Конь вороной» (1923).

Несмотря на все это, некоторые критики были от романа в восторге — к примеру, ярая монархистка Н. Франк (Корчак-Котович),

которая в 1927-28 гг. редактировала газету «Нарвский листок» и сама отметилась на «бело-пинкертоновской» ниве несколькими бульварно-антисемитскими подделками:

«Этот сжатый, напоенный жертвенной кровью и подвижнической тайной, – роман, – не назовешь иначе. Тайна и кровь... Кровь и тайна. Это лозунг, символ национального мученичества России. Русского офицерства.

Сочными, яркими штрихами автор набросал целый ряд жертвенных типов... Ряд сломленных нелепой кроважадной бурей, – людей-титанов. <...>

Эта книга, таинственные кровавые штрихи, под которыми легко угадывается тяжелая бесконечная трагедия – «последних из могикан». Эту книгу нужно перечесть одному про себя, пережить, перечувствовать, и, тогда, останется незабываемое...» (Корчак-Котович Н. Библиографический отдел // Нарвский листок. 1928. № 3, 10 января. С. 3).

В «Сегодня» роман превозносил заведующий историческим отделом газеты Б. Шалфеев:

«Захватывающая, интересная, красивая книга! <...>

Рассказ быстр, динамичен, ярост, как быстр, молниеносен самый темп этой окрашенной риском, опасностью и кровью жизни.

Выгодное впечатление от талантливо написанного романа усугубляется его бесспорною литературностью: огромный сюжет вылит в изящную, граненую словесную форму. Слог и стиль Хрущова невольно увлекают. Хочется писать, как он, краткими, броскими, сильными предложениями.

Фразу – сжать, уторопить, насытить движением. Хочется забыть излишние иностранные слова. <...>

С какой бы стороны ни подходить к книге, со стороны ли сюжета, содержания, литературной формы, рассматривать ли “Тайну и кровь” со стороны художественно-психологической – роман является интересным, увлекающим, заслуживающим успеха» (Б. Ш. “Тайна и кровь”: Роман П. Хрущова // Сегодня. 1927. № 286, 18 декабря. С. 9).

Успех не заставил себя ждать: в 1930 г. роман вышел вторым изданием; книга была переведена на несколько языков и издавна в Англии и Франции. Пожалуй, он и был в какой-то мере заслуженным: роман П. Пильского выгодно выделялся на фоне многих «пинкертонов» как по ту, так и по эту сторону границы.

Текст романа публикуется по первому отдельному изданию (Рига: Литература, 1927) с исправлением очевидных опечаток и ряда устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Для удобства чтения набранные в оригинале с разрядкой слова даны курсивом. На фронтисписе – портрет П. Пильского работы К. Высотского. В оформлении обложки использован рисунок М. Добужинского. В биографическом очерке использованы материалы Ю. Абызова, Т. Исмагуловой и А. Меймре.

Оглавление

<i>А. Куприн. О романе «Тайна и кровь»</i>	7
<i>От автора романа</i>	11
I. На другой день после убийства английского офицера	12
II. Обыск	18
III. Убийство Томашевского	23
IV. Секретный агент штаба	27
V. Испытание	32
VI. «Тайна и кровь»	37
VII. № 2333 и № 456	42
VIII. Мария Диаман	48
IX. На грани гибели	54
X. Спасенье	58
XI. Подозрения	63
XII. Судьба Варташевского	68
XIII. Казнь	73
XIV. Игра	79
XV. Гибель Феофилакта	84

XVI. Тайна сестры	90
XVII. Секретное совещание	95
XVIII. Похороны Варташевского	101
XIX. Разговор по телефону с чека	106
XX. В кабинете Урицкого	113
XXI. В западне	118
XXII. К стенке	123
XXIII. Чекистка	129
XXIV. Внезапное освобождение	133
XXV. Опасные дела	138
XXVI. «Руки вверх!»	143
XXVII. Нападение	148
XXVIII. Таинственная квартира	153
XXIX. Новый план	158
XXX. Встреча	163
XXXI. У Марии Диаман	168
XXXII. «Прощай!..»	172
<i>М. Фоменко. О Петре Пильском и его романе</i>	176
Источники	181

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.